

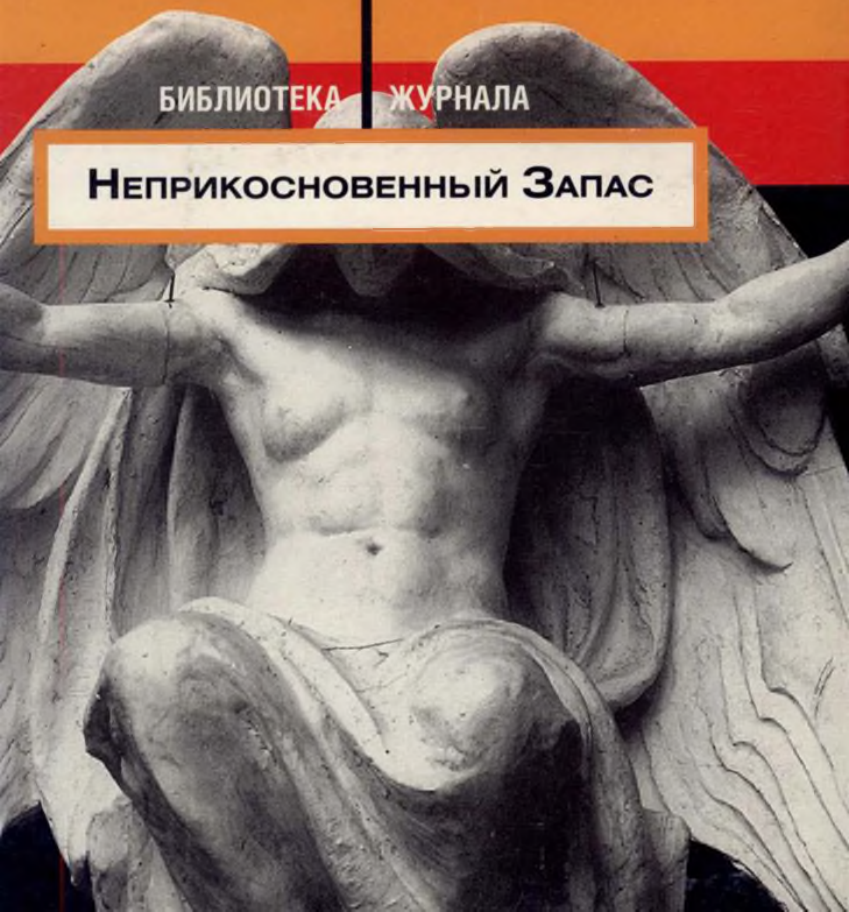
АНДРЕЙ ШАРЫЙ

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

ЮГОСЛАВСКИЕ МИФЫ
СТАРОВОГО И НОВОГО ВЕКА

БИБЛИОТЕКА | ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС



БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Андрей Шарый

После дождя

Югославские мифы
старого и нового века

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА • 2002

ББК 63.3(4Юго)6
УДК 94(497.1)"19/20"
Ш26

Художник
Д. Черногаев

Автор выражает благодарность за помощь в работе над книгой
Айе Куге (Белград), Оливеру Павичевичу (Милан),
Ольге Подколзиной (Москва)

В оформлении книги использованы работы
А. Мауровича, М. Павича и дизайнерского проекта «Варум»

Шарый А.

Ш26 После дождя. Югославские мифы старого и нового века. — М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 240 с., ил.

Книга известного журналиста Андрея Шарого, в 1993—1996 гг. — собственного корреспондента радио «Свобода» на Балканах (Загреб), — о последнем десятилетии истории бывшей Югославии, о крушении ее общественно-политических мифов. Как появляется и исчезает миф о великом вожде? Откуда возникает потребность переписать историю? Что такое патриотизм эпохи национальных войн? Какова логика теории о национальной исключительности? Какое влияние кризис общественного сознания оказывает на кинематограф, музыку, литературу, спорт? «После дождя» — размышления о стране, когда-то умудрявшейся «при социализме жить, как при капитализме», а затем ставшей ареной самой жестокой европейской войны второй половины XX века.

ББК 63.3(4Юго)6
УДК 94(497.1)"19/20"

ISBN 5-86793-180-3

© А. Шарый, 2002

© Художественное оформление.
“Новое литературное обозрение”,
2002

Всякий раз,
когда Европа заболевает,
она просит
прописать лекарство
Балканам.

Милорад Павич

Город, море, горы...



Миф о символах большой страны

Куда важнее избрать путь,
чем достичь цель.

Милорад Павич «Пароль»

Искусство кофе

...Так варить, так заваривать, получать такое удовольствие, проводя время за чашкой кофе, так превращать ежедневный получасовой ритуал в образ жизни умеют еще разве что в Вене да где-нибудь в ленивой Турции. Оттого с венскими Грабен и Кернтнер, образцовыми кофейными зонами Старого Света, и сравнивают загребские улицы Ивана Ткалчича и Людевита Гая — Ткалчичеву и Гайеву. Когда-то Вена задала средневропейскую кофейную моду и положила начало традиции. Славянский город Загреб, столетие назад — австро-венгерская провинция, имперскую чопорность превратил в вальяжность, а высокомерие австрийцев смягчил ароматом средиземноморского юга и пряностью близкого к Балканам Востока.

Загребское «искусство кофе» тонко и сложно, оно подвластно только коренным столичным жителям, пургерам. В этом городе — сотни кафе, у многих — долгая история и крепкие традиции, и уж совершенно определено: настоящий пургер непременно чашку кофе в субботу утром ни за что не выпьет где попало. Он отправится только в свое кафе, сядет только за свой столик, обменяется шуткой со своим официантом, откроет свою газету. Загребские каваны и кафичи делятся на разные категории — в зависимости от того, кто и для чего там собирается, в зависимости от пола и возраста посетителей, их профессий и пристрастий, происхождения и положения в обще-

стве, спортивных и музыкальных увлечений, героического поведения, места рождения, да чего угодно.

Кавана — это большой кофейный салон, где по утрам солидные дамы и господа ведут неторопливую беседу о жизни и листают распятые на бамбуковых пюпитрах газеты, где по вечерам собираются члены политических или артистических клубов. Это заведения непоколебимых традиций, местный «пикейный жилет» в кавану приходит обязательно в свежей рубашке и при галстуке, его дама бальзаковского возраста — с уложенной прической и в нарядной блузе. Классический пример — «Мала кавана» на солнечной стороне площади бана Елачича, где собираются только пожилые люди. Тем, кому нет шестидесяти, здесь не место — иностранного туриста, заглянувшего в «Малу кавану» по незнанию, завсегда там еще простят, а вот если прийти шумной компанией — пощады не будет: старички и старушки успокоят надменными взглядами в упор. В «Малой каване» «третий возраст» балует себя напоследок жирными пирожными и кофе по-венски: охлажденный напиток в высоком стакане смешан с мороженым и сладкими взбитыми сливками.

Одна из самых почтенных загребских каван — «Рубин» в гостинице «Эспланада». Здесь каждый день, из года в год сиживал знаменитый хорватский писатель Мирослав Крлежа. По его мнению знатока, именно кавана «Рубин» — метафизическая «граница Европы и Балкан», именно тут, в ста метрах от центрального вокзала, встречаются традиции и перекрещиваются истории разных культур.

В начале прошлого века в Загребе работало не меньше трех десятков каван (при населении города в 70 тысяч человек), причем на центральной площади бана Елачича — целых семь. Сейчас, если не ошиба-

юсь, в полной неприкосновенности осталась одна, «Градска кавана», еще одна удачно перестроена, так, чтобы сохранилась традиция, — «Мала кавана». Еще два заведения претендуют на то, чтобы каванами называться: «Дубровник» и «Бан».

Бан — это высший государственный пост в австро-венгерской Хорватии, наместник императора, назначаемый из местной знати. Йосип Елачич был баном в середине XIX столетия и прославился тем, что, отстаивая интересы хорватов, вместе с верными Габсбургам войсками успешно штурмовал в 1848 году революционный Будапешт. Так бывает в истории: для одних — душитель свободы, для других — народный герой. Заслуги Елачича перед нацией увековечены в камне: конный памятник грозит кривой саблей венгерской столице и проезжающим мимо трамваям. И бан Елачич, и памятник бану Елачичу стали символами перемен: выпускается соответствующий виньяк, соответствующие конфеты и соответствующие открытки. Не случайно, конечно, первый президент независимой Хорватии Франьо Туджман если и посещал сотоварищи центр города, то заходил в кавану «Бан», а не в какую-нибудь другую.

Старые загребчане четверть века не могли смириться с потерей знаменитой каваны «Корсо» на центральной улице города Илице. «Корсо», построенная в 1908 году одним венским архитектором, до середины века считалась самым большим и самым дорогим загребским кофейным залом. «Корсо» не жаловали студенты, писатели или актеры, сюда заходили австро-венгерские чиновники и армейские офицеры, да и сама кавана — с высоченными потолками, арочными окнами, тяжелыми стульями — казалась знаком непоколебимости центральноевропейской империи. «Уважаемый герр хозяин стремится, чтобы в его кавану»

не все было на своем месте и все имело значение, — с иронией писала в начале века сатирическая газета “Коприва”. — За одним из столиков обязательно будут сидеть три профессора хорватского языка, которые готовы дать бесплатный урок посетителям, особенно дамам, а рядом поставят два огромных вентилятора для фильтрации воздуха». После крушения Австро-Венгрии «Корсо» несколько раз перестраивали, пока в 70-е годы волей социалистических властей не превратили в пиццерию. Как бы хорошо ни пекут там коржи, как бы виртуозно ни варили пасту — на «Корсо» словно пало проклятие пургеров-бургеров. Уважающий себя загребчанин ни за что в эту пиццерию не сворачивал, проходил мимо да еще вздыхал: да, были времена... В «те самые» времена итальянское название «Корсо» — «Проспект» подчеркивало космополитизм Загреба. Хорваты вообще любят мягкий апеннинский шик: во многих городах, особенно на близком к Италии Адриатическом побережье, рыночную площадь называют «пьяцца», набережную — «рива», проспект — «корсо». Исчезновение стильной каваны на Илице не спасло сохранение названия — непродуманная перемена уничтожила кофейный дух.

В конце концов владелец «Корсо» решил вернуть каване прежнее очарование. Для реконструкции наняли модного архитектора — естественно, из Вены. Венский архитектор не увлекался классицизмом — он предложил легкий, воздушный дизайн, как того и требует эпоха...

Впервые попав в Загреб летом 93-го года, я был покорен элегантной атмосферой «Кавказа» — «Каза-лишной каваны», «Театрального кафе» на площади Маршала Тито. Рядом, за пышными клумбами, — Национальный театр, на стенах — портреты актеров в фетровых шляпах и актрис в муаровых вуалях, мест-

ных Шаляпиных и Ермоловых, кругом плюш и темно-бордовый бархат. Здесь останавливалось время, здесь кофе пился так медленно, будто и впрямь некуда спешить. Не зря большая чашка кофе по-хорватски так и именуется: «дуга кава» — «долгий кофе». По загребской кофейной терминологии «Кавказ» — так называемое «либертинское» кафе, место встречи загребской театральной и художественной богемы. Сидя за столиком «Кавказа», популярный хорватский писатель Антун Густав Матош когда-то придумал, быть может, лучшее определение для кофейного времяпрепровождения — «капуцинер эстетичи».

«Кавказ» казался мне символом чудесной европейской жизни, свободной от бессмысленных советских хлопот. Но в конце девяностых кафе вдруг перестроили, и «Кавказ» превратился в модную точку для городского джет-сета. Отцов сменили дети. Непонятным образом сохранив чопорность, несмотря на модернистский дизайн, кафе потеряло уют.

Конечно, перестроили «Кавказ» не вдруг: Загреб старательно чистился, быстро менялся, тянулся за западными метрополиями, пытаясь избавиться от комплексов провинции. Впрочем, попробуйте только сказать пургеру, что он — провинциал! Загреб богател и прихорашивался, по мере того как в Хорватии стирались следы социализма и войны, по мере того как страна приноравливалась шагать в ногу с Европой. Центральные городские кафе — это энциклопедия местных знаменитостей. Семья футболиста Звонимира Бобана обустроила на Гайевой улице фешенебельное кафе «Бобан»; за углом, на Теслиной, теннисистка Ива Майоли приобрела кафе «Восточный экспресс» — длинный, узкий зал, стилизованный под железнодорожный вагон. Напротив вечерами дудят в саксофоны и бренчат на пианино джа-

зисты в «Би-Пи Клабе», в том же внутреннем дворике — «Хард-рок кафе», где из стены выезжает малиновый капот «Шевроле» эпохи Элвиса Пресли. Все это — пристанища для молодежи, студентов и тинейджеров, разбитные местечки, где за кружкой пива или бокалом колы можно просидеть целый вечер. Это кафе, но не каваны. Здесь есть жизнь, но нет стиля, есть ритм, но нет души.

В кафе «У А.Г. Матоша», на втором этаже здания, углом выходящего на площадь Елачича, собирается городская знать. Это заведение не для среднего класса — чашка кофе здесь стоит пять-шесть долларов. Высокая цена надежнее злого швейцара у входа. Поэтому те, кто не должен приходить, сюда и не приходят. Стильное дорогое кафе — в музее «Мимара», там варят кофе для постоянной клиентуры, но можно встретить кого угодно, в основном политиков и бизнесменов. Певцы и музыканты толкуются в безликом, интернационального вида «Бульдоге» на Теслиной улице или в кафе «Лисинский», на цокольном этаже концертного зала, носящего имя основателя южнославянского оперного искусства. «Лисинский» — место встреч кино- и телепублики, здесь никогда нет свободных мест, и, несмотря на изящное смещение лоска и демократизма в интерьере, случайный посетитель в этом кафе чувствует себя не в своей тарелке. Кругом ведут деловые разговоры, и почти каждый, входящий в кафе, прежде чем усесться за столик, где его обычно уже ждут, обменивается приветствиями чуть ли не со всеми посетителями.

Первые годы хорватской независимости сделали знаменитым кафе «Хеннесси» на Гундуличевой улице. Там частенько собирались молодые экономисты, предприниматели, юристы, впоследствии составившие костяк правительства республики. Их, уже став-

ших министрами, важными директорами, советниками президента, так и называли с доброй иронией: «парни из Хеннесси». За столиками кафе они, вдохновленные национальным порывом, разрабатывали программы экономических реформ. Но время шло — и ирония сограждан перестала быть доброй: «парни из Хеннесси» разбогатели, а страна счастливее не стала. Энергетический импульс «Хеннесси» иссяк: как-то в кофейный прайм-тайм, в субботний полдень я заглянул на Гундуличеву — занято всего два-три столика, и то какой-то случайной молодежью.

По числу посадочных мест на квадратный метр в Загребе уверенно лидирует Ткалчичева улица. Она начинается у рынка Долац и тянется вверх на холм Пантовчак, отделяя старый торговый Горний град от католических храмов и монастырей района Каптол. Ткалчичева хороша летом, в жаркий день, когда улица сплошь, так, что не пройти, заставлена зонтиками, столиками, стульями. Кафе с реноме здесь не найти, нечего и искать, все ультрамодно и стандартизировано. На Ткалчичевой под страшный грохот музыки сводят знакомства, тут демонстрируют мини-юбки, высокие каблуки и расклешенные джинсы, тут завязываются и разрываются романтические отношения. Вот на Ткалчичевой почувствовать себя чужим невозможно — потому туристы и валят сюда валом.

Как раз на энергичной Ткалчичевой для меня обрело смысл «фонетическое различие» между хорватской, сербской, боснийской кофейными церемониями. Пургеры пьют «каву», и только «каву», с твердым деловым европейским «в» в чашке. Вальжные сербы предпочитают ленивое полуденное «ф» — они никогда на работу не торопятся, наслаждаются крепкой, но невероятно медленной утренней «кафой». «Ленивый процесс» доводят до совершенства в Боснии: «кахву»

в Сараеве или Тузле подают по-восточному, такую крепкую, что горчит, в медных отдраенных джезвах (каждая — на чашечку объемом всего в глоток), с темно-коричневой шапочкой пенки. В Загребе этот обворожительный напиток не сыскать — разве что в кафе у мечети.

Мой главный эксперт и советчик в загребском кофейном мире — давняя приятельница Мима, Мирослава Капич. Когда-то Мима, дама неумного жизненного темперамента, была моей квартирной хозяйкой. Мима утверждает, что кофейными познаниями она ничуть не отличается от многих тысяч загребчан, потому что почти каждый в этом городе — по крайней мере тот, кто называет себя пургером, — тонкий знаток кофейной географии. Мима рассказывает, что эта география сильно изменилась в семидесятые годы, когда согласно моде на самоуправляемый социализм и разрешенное им мелкое предпринимательство в Загребе появилось огромное количество (сотни, а не десятки) небольших, всего на два-три столика, не требующих особых финансовых вложений кафе — хорваты называют их «каффичами». Символ Загреба семидесятых годов — кафич «Звечево» на Масариковой улице — по названию кондитерской фабрики, известный в кругах ценителей кофе как «Звечка». О «Звечке» и о времени «Звечки» теперь слагают легенды, но в этом кафе уже не собираются. Причину не определить: слава не описывается линейной формулой.

В загребском лексиконе значимо понятие «кофейная политика». Это тоже часть традиции: за столиками кафе посетители ведут бесконечные и часто беспредметные споры, создают и раскалывают политические партии, плетут заговоры, анализируют ошибки президентов, подводят итоги войнам и выносят

оценки мирным договорам. Тут творят историю. Для загребских журналистов кафе и каваны — родная стихия; профессиональными новостями они делятся в кафе «Цицера» (так называется один из типографских шрифтов) на задворках небоскреба, в котором расположен газетный комбинат «Вьесник», на улице, названия которой никто не помнит — коллеги именуют ее «Аллеей павших комментаторов». В офисе корреспондента примет разве что бездушный чиновник, но так никогда не поступит уважающий себя и своего собеседника интеллеktуал. «Палас», где черный кофе подают с обязательным стаканом ледяной воды на маленьком серебряном подносе, тот же «Рубин», «Адмирал» рядом с самым большим в городе казино — вот достойные места для солидных господ и серьезных разговоров.

Нервный центр загребской «кофейной политики» последнего десятилетия — кафе «Чарли» на углу Гаевой и Боговичевой улиц. Именно здесь собирается столичная интеллектуальная элита — люди, которые хотят, чтобы их видели в достойной компании, и которые дорожат своим общественным весом. Кафе, кстати, не выглядит исключительным — ни особого уюта, ни роскоши интерьера, ни удобства, ни обширного меню. Незнающий — не поймет. Мима Капич считает, что своей популярностью кафе «Чарли» во многом обязано сентиментальности посетителей. Хозяин заведения, Мирко Чарли Браун, был в далекой уже молодости яркой футбольной звездой, он играл в столичном «Динамо» поры расцвета клуба и до сих пор знаменит и любим согражданами. В эпоху Туджмана зайти на чашку кофе в «Чарли» значило обозначить принадлежность к дискуссионному клубу свободомыслящих, к классу пургеров, хранящих традиции. «Чарли», думаю, не случайно расположен в двух ша-

гах от площади Елачича, но не на самой площади — еще одного ключевого понятия кофейной цивилизации. Площадь — это символ универсальности мира и открытости жизни, где все и вся на виду, где нет углов, за которыми можно спрятаться. Это — и театр, и море, и космос столичного города. Так вот, сидя в «Чарли» (или, что бывает еще чаще, на террасе рядом с «Чарли»), ты наблюдаешь за празддно гуляющей и празднично наряженной публикой (в хорватском языке есть удачное определение «свѣт» — «мир, общество, компания») и в любой момент можешь вступить в этот свет, стать частью публики. А можешь и не стать, сохранить свою «отдельность».

Главное кофейное время в Загребе — позднее утро. Хорватская писательница Дубравка Угрешич писала по этому поводу: «Люблю утро больше, чем полдень или вечер, потому что утро — это обещание». Главное кофейное утро — субботнее, долгая сладкая пауза между «вчера» и «завтра». «Вчера» окончилась рабочая неделя, «завтра» — обязательный семейный обед у родителей. При выборе «своего» субботнего кафича или каваны определяющими являются два обстоятельства. Важное, но все-таки не главное: как здесь варят кофе. И второе, то, что, собственно, определяет смысл кофейной субботы: кто сюда заходит. Если у кафе нет хотя бы десятка постоянных клиентов из числа более-менее известных в городе лиц, хозяин не то что разорится, но гордиться ему будет нечем. Поэтому уютных кафе в Загребе — сотни, популярных — десятки, знаменитых — всего лишь несколько, а культовое — только одно, «Чарли».

Загребу повезло — потому, что в сердце далеко не каждого города бьется кофейное сердце. Пургеры ценят это и не спешат отказываться от сковывающей свободу выбора традиции. Еженедельный график

жизни Загреба открывается субботой — и субботой завершается. Каждую субботу жители миллионного города отправляются в свои кафе и не торопясь, со вкусом выпивают чашечку кофе. Они наслаждаются жизнью. Они ждут.

Ведь утро — это прежде всего обещание.

Посередине Земли

«На берегах Средиземного моря 1 мая 305 года в присутствии чинов двора, отрядов армии и собравшегося народа состарившийся, больной и усталый от тяжести империи Диоклетиан торжественно отрекся от власти. Сложив с себя пурпур и назначив преемников, старый император поспешно сел в закрытую карету, в последний раз, как бы тайком, проехал по улицам своей столицы и скрылся в пышное уединение, которое заранее приготовил себе в Далмации. Сойдя с трона, Диоклетиан не мог забыть, что был властелином мира, и вовсе не желал, чтобы его забыли. Свое последнее убежище он хотел видеть роскошным и грандиозным, украшенным великолепными памятниками, всей пышностью и утонченностью искусства, способным вмещать целую армию слуг, телохранителей, придворных. Дворец Диоклетиана разросся до размеров города. Когда через 300 лет после смерти Диоклетиана (на побережье. — *А.Ш.*) обрушилось нашествие варваров, жители... спасавшиеся от кроатов, искали убежище в полуразрушенных, но еще крепких стенах опустевшего императорского дворца. Так родился Спалато».

Спалато — римское название Сплита, самого большого города на славянском побережье Адриатического моря. А отречение императора пышно описал

французский этнограф Шарль Диль, книга которого «Путешествие по берегам Средиземного моря» издана в Санкт-Петербурге в 1912 году. Путевые заметки Диль мне очень нравятся: он хоть и относился к местным жителям как к братьям меньшим, с легким парижским высокомерием, смог прочувствовать и понять главное. А главное — это специфическая философия отношения к жизни, особый способ существования, рожденный на берегах Адриатики.

Шарль Диль пишет не только об этом. «Адриатическая природа являет путешественнику прекрасные и живописные виды. Глубокие заливы, прорытые морем в этом крутом и изрезанном побережье и напоминающие скандинавские фьорды; закрытые озера, в которых высокие горы отражают свои зеленые склоны, напоминают пейзажи; одним словом — это Швейцария, но Швейцария, омываемая морем и позлащенная солнцем Востока. Эта терпкая и суровая земля, узкая береговая полоса, стиснутая горами и морем, не обладает легким изяществом и соблазнительным очарованием своей соседки Италии; но зато она менее банальна, не столь опошлена толпой туристов и сохраняет в себе привлекательность несколько заброшенных древностей. Ее мертвые города словно еще озарены отблеском венецианской пышности и римской славы.»

...Выстроенный императором Диоклетианом мертвый дворец стоит в Сплите до сих пор. От моря этот дворец (на самом деле — целый квартал связанных мостиками, портиками и переходами зданий, с обширным внутренним двором) отделяет только просторная набережная и шеренга развесистых пальм. Дальше — сплошная голубизна.

Горожане к императору относятся двойственно. С одной стороны, он был диктатором и самодуром, да

к тому же жестоким гонителем христиан. Одной из жертв, пострадавших от императорских эдиктов, стал местный епископ Дуйм. С другой стороны, Диоклетиан нашел в себе силы добровольно удалиться на пенсию, в роскошное изгнание, и, говорят, даже увлекался разведением капусты. На месте мавзолея, где располагался саркофаг с останками Диоклетиана, мстительные христиане в VII веке построили храм, который посвятили мученику Дуйму. Колокольня собора святого Дуйма и дворец Диоклетиана, как считает местный публицист Дарко Худелист, являются не только историческими символами Сплита, но и знаком вечной борьбы двух противоположностей: «языческого» космополитизма города и его правоверного католического «хорватства». Худелист провел обширное социологическое исследование и обнаружил в этом мифическом противостоянии и политические параллели: сторонники левых идей якобы с большой симпатией воспринимают фигуру римского императора, в то время как жертвенность епископа особенно близка национально ориентированным патриотам. Примирить непримиримое попытался местный литератор и директор городского туристического управления Ведран Матошич, автор брошюр «Повесть о Диоклетиане» и «Повесть о Дуйме», в которых он отстаивает тезис о том, что эти два исторических персонажа на самом деле относились друг к другу с уважением. Историки, правда, изыскания Матошича комментируют с иронией, считая их забавой для туристов.

Мне нравится приезжать в Сплит зимой, когда не нужно спасаться от южного зноя в кафе на набережной или в подвалах античного дворца. Частый холодный дождь не раздражает, я с удовольствием наблюдаю за тем, как дождевая вода отмывает щер-

батые плиты мостовой. Люблю прогуливаться под пальмами, любоваться белесой морской далью, подниматься на холм Марьян, над которым полощется огромный хорватский флаг, от нечего делать фотографироваться у памятника средневековому просветителю Гргуру Нинскому. Скульптор не пожалел бронзы на большой палец ноги просветителя, высовывающийся из сандалии. До гигантского пальца уважительно дотрагивался не я один — любой зевака, и от времени и прикосновений бронза отполирована до золотого блеска. Так и стоит мокрый и мрачный Гргур Нинский у ворот античного дворца, сияет пальцем.

Продрогший зимний Сплит опровергает самоуверенность туристических проспектов, обещающих гостям и жителям города вечное тепло и вечное солнце. Но Диоклетиан, наверное, не случайно провел именно здесь позднюю осень жизни. И когда я выхожу на набережную из гулко-го подземного коридора, проложенного под древней дворцовой стеной, то всегда оборачиваюсь и, задрав голову, смотрю на эту самую стену. Вон там или вон там, на том (или на почти таком же) балконе когда-то в одиночестве стоял престарелый император и с тоской вглядывался в мутный от февральского дождя горизонт.

Но кому еще, кроме меня (и старика Диоклетиана), может понравиться февральский город у моря?

Суть настоящей, правильной «адриатической философии» разъяснял мне Анатолий Кудрявцев, почтенный гражданин Сплита, известный в городе театральный критик, но главное — тонкий исследователь местных особенностей восприятия мира. Кудрявцев никогда не был в России и почти не понимает русского языка, но приятели до сих пор, как и в школьные годы, зовут его «белогвардейцем». Через несколь-

ко лет после событий октября 17-го года в России отец Кудрявцева, офицер врангелевской армии, оказался в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Сын офицера, родившийся в изгнании, не сохранил привязанности к родине предков. Его книги «Вечный Сплит» и «В поисках потерянного Средиземноморья» посвящены не России — они посвящены теплomu морю, городу, стоящему у моря, и людям, живущим в этом городе на морском берегу.

Прочитую Кудрявцева: «Средиземноморский образ жизни основан на близости людей, на понимании и принятии ими того факта, что они по сути — одна большая семья, этот менталитет основан не на политических и национальных лозунгах, а на ощущениях и мифах. Человек здесь практически никогда не остается наедине с собой, общение здесь столь же естественно, как дыхание. Это представление об “общественности” жизни берет начало от античных традиций народных собраний. Наш образ жизни очень динамичен, он подразумевает постоянное движение, карнавал, праздник, отказ от статичности».

Философия, которую проповедует Анатолий Кудрявцев, элегантна, но эгоистична. Это ценности людей, живущих на берегу Средиземного моря, а значит — посередине Земли. Они в первую очередь не хорваты, не итальянцы, не черногорцы, не албанцы, их объединяет не кровь, не язык, не вера. Их роднит Ядран. «В центре медитерранского восприятия реальности, конечно, море, — подтверждает Кудрявцев. — Море не только дает людям работу, оно не только источник огромного количества мифов, преданий и легенд. Ядран дарит ощущение принадлежности всему миру, а не только своей земле и своему народу. Гигантское динамическое пространство символизирует расстояние и в то же время рождает иллюзию легкого

и постоянного передвижения. В результате возникает контраст, а контраст в любых размышлениях есть начало креативности. Море — первый символ средиземноморской вселенной. Песни, адриатическая поэтика — второй. Но скрепляет наше мировоззрение воедино потребность в общении. Вот три символа Средиземноморья».

Ядран — самое южное славянское море. Адриатика — это полторы тысячи островов, из которых всего семьдесят обитаемы. «В момент рождения планеты именно здесь земля встретилась с морем», — писал Байрон. Когда-то римская цивилизация пошатнулась в этих краях под натиском варваров. На берегу теплого моря обрели новую родину славянские племена. Здесь раскинулись владения Венецианской республики. Наполеон сражался с Австро-Венгрией и Россией за славу и власть и на адриатических берегах тоже. Ядран уже в двадцатом веке делили Италия, Германия, пока не возникла на европейской карте социалистическая империя маршала Тито. Но и та Югославия — тоже в прошлом. В настоящем политика расколола славянское побережье Адриатики на три неравные части. Словенцам досталась сорокакилометровая ривьера в Триестском заливе — свои небольшие морские владения они окрестили «бутылочным горлышком». На крайнем юге — 290-километровое черногорское побережье. А между Словенией и Черногорией — Хорватия: почти тысяча километров континентальной береговой линии. В средневековых летописях хорваты не зря именовали Ядран «Маре нострум кроатикум».

Югославянская Адриатика — это страна запахов, звуков, мелодий и ассоциаций. Это леность прибоя и жар раскаленного солнцем камня. Это добела вылинявшее, лениво расчерченное облаками небо. Течение жизни здесь до сих пор определяют естественные

понятия: виноградная лоза, оливковое дерево, рыбацкая сеть. Вода, солнце и камень играют не только друг с другом. Их пляска рождает причудливые и мягкие, совершенно природные словосочетания. Вот женские имена — Весна, Ягода, Вишня, Сунчица. Вот названия приморских поселков и городков: Сельца, Малинска, Супетар. Вот марки местных вин: терпкое белое называется «Грк», белое столовое — «Мальвазия», тяжелое, густое и сладчайшее красное — «Прошек». А острова? Брач — здесь добывают знаменитый во всем мире розовый и белый мрамор. Млет — сюда Гомер поселил сладкоголосых женщин-птиц, сирен, убивающих путников своим пением. Корнати — архипелаг, где обитают доисторические ящерицы.

Из чисто лингвистических соображений я облюбовал островок Палагружа (какое название!) — самый дальний от материка, точка в синеве строго посередине водного пути от Балкан до Апеннин. Палагружа выбрана в качестве неисполненной мечты, которую на самом деле и исполнять-то не стоит — известно, что на островке, кроме очарования природы, удивляться нечему. Палагружа обитаема только в летние месяцы, когда работает крохотный маяк и действует столь же крохотная рыбацкая станция, а с осени до весны единственные гости — контрабандисты, на катерах переправляющие из Италии в Хорватию и Черногорию сигареты и ширпотреб.

Я так и не добрался до Палагружи, зато (правда, постепенно, в несколько приемов) проехал насквозь практически все побережье югославянской Адриатики, тысячу километров с северо-запада на юго-восток. И убедился в том, что Анатолий Кудрявцев прав: здешний способ восприятия мира — вненационален. На крайнем севере, в Копере, так же часто слышна итальянская речь, как и словенская, а итальянский Триест почти в такой же степени наделен южносла-

вянским своеобразием, как хорватские города Пула и Риека. А самая южная точка черногорского приморья — Улцинь, где большинство населения составляют албанцы.

Здесь соприкоснулись не только природные стихии — земля и вода, но разные цивилизации. Чистой победы в этих борениях не одержал никто. Поэтому ничуть не странно, например, что один из самых славных персонажей южнославянской Адриатики — итальянец. Композитор Джузеппе Тартини родился в конце XVII века в словенском сейчас городке Пиран. Глава падуанской скрипичной школы, он, как считают музыковеды, усовершенствовал смычок и ввел новую технику исполнения — технику так называемых летучих штрихов. Джузеппе Тартини и теперь самый знаменитый гражданин Пирана, хотя и бронзовый (памятник красуется на центральной площади). Летучими штрихами своего смычка Тартини вычертил сонату «Трель дьявола». Эта трель раздается не только на побережье, но и под землей: словенцы часто проводят фестивали классической музыки в зале гигантской карстовой пещеры в Постойне. Они прекрасно знают, что Тартини итальянец, но с полным основанием считают его творчество культурным наследием и Словении тоже.

Впрочем, это общее наследство прежде часто доводило до войн, а теперь, к счастью, приводит по большей мере к мирным спорам. Хорваты, например, ведут бурную дискуссию о происхождении другого знаменитого средиземноморца — венецианского путешественника Марко Поло. У первопроходца отыскались потомки: прапраправнук славного морехода Владимир Деполо работает скромным председателем общинного суда в малюсеньком хорватском городишке Корчула на одноименном острове. Островитяне уверены в том, что Марко Поло не итальянец, а хор-

ват. Имя якобы изменили века: Павлович превратился в Де Паулюса, а уж потом — в Де Поло. Недоверчивым Владимир Деполо готов предоставить обширную историческую документацию, включая копии рукописных хроник, в которых содержится датированная 1446 годом перепись местных жителей. Среди них числится и корабельных дел мастер Поло, «происхождением из Далмации». В Корчуле я видел и дом с табличкой, указывающей: именно здесь проживала семья знаменитого мореплавателя. Островитяне, кстати, в середине девяностых годов намеревались торжественно отметить 700-летний юбилей удачного завершения путешествия Поло, отправив по его маршруту международный караван под предводительством еще одного потомка знаменитости — 23-летнего тогда специалиста по информатике Мате Деполо. Однако идею реализовать не удалось, денег и духу не хватило.

Если северный полюс славянского мира расположен в Москве, то южный — в Дубровнике. Вот где чувствуешь: у нас близкие языки — но разная вера; у нас близкая культура — но разная история; несмотря на одну родовую кровь, мы все же — дети разных цивилизаций. Славяне северо-востока приняли на себя слишком сильный удар Орды, чтобы их общинность не впитала порядки восточной деспотии; славяне юго-запада испытывали слишком заметное влияние романской культуры, чтобы их воинственный дух не перенял традиций Возрождения. И по сей день оставшийся крошечным Дубровник собирал вокруг себя земли еще в ту пору, когда Москва и не мечтала о славе столицы великой державы. Эти два разновеликих и совсем не похожих друг на друга города, один — на берегу теплого моря, другой — посередине холодной равнины, словно два конца гигантского коромысла, прихотью истории переброшенного почти через весь континент.

У Дубровника есть свой Георгий Победоносец — канонизированный католический епископ Влаха (Василий). Семнадцать статуй святого Влаха, благообразного седенького старичка с макетом города в руках, украшают стены, башни и ворота старой крепости. В отличие от Победоносца, Влаха не протыкал копьем дракона: дубровчане были больше славны торговлей и ремеслами, чем боевой мощью. Даже окрестные земли город-республика старался не завоевывать, а приобретать у соседей, да и от захватчиков Дубровник часто не оборонялся, а откупался. «Мы не можем жить, если не торгуем» — этот девиз подтверждал хотя бы тот факт, что к XVI веку Дубровник построил крупнейший в тогдашней Европе флот. В эпоху позднего Средневековья Дубровник оставался единственным государством на Балканах, которое в своем развитии не отставало от Италии. Город слыл просвещенной научной и культурной столицей. Крупный физик, астроном и математик Руджеро Бошкович был возведен в члены основанной Ломоносовым Российской академии наук. В интимных недрах богемного салона красавицы Цветы Зузорич родилось целое поэтическое направление, известное как «стыдливая любовная лирика». Очевидно, не зря летописцы называли город «славянской Венецией».

Дубровник, может, и сравним в чем-то с Венецией, но город, как свидетельствуют историки, всегда оставался славянским по духу. Он и рожден-то слиянием двух поселений: славянского — на горе и романского — на острове Лаве; еще в XI веке разделявший их неширокий канал засыпали, образовав нынешнюю центральную улицу Страдун. В названии города славянам слышится шум густой дубравы; на Западе на свой манер называли его Рагузой.

Крепость Дубровника, одну из самых мощных в Европе, проектировали, как и Кремль, итальянские архитекторы. Богатые города привлекают взоры завистников — Москву штурмовали то татары, то поляки, Дубровнику грозила турецкая блокада. Именно здесь, на юге Далмации, много веков назад, как заметил поэт Владимир Менчевич, «оттоман-

ское море разбилось о хорватский берег». На дальнем востоке Европы это море билось в другие берега. Наполеон взял Дубровник на шесть лет раньше Москвы; но у хорватов не нашлось своего Кутузова, и именно Бонапарт упразднил независимость приморской республики. «Этот город кажется средневековым миражом, заснувшим под сенью массивных укреплений, — пишет Шарль Диль. — В этой пощаженной веками раме мысль вызывает в памяти образ маленького торгового государства, величественного, независимого и гордого, которое некогда жило и развивалось в тесных латах из золотистых стен... Грубая рука Наполеона... уничтожила свободную республику... Один из старых жителей города показал мне статую святого Василия, покровителя города, наполовину закрытую узорным плащом. “Святой закрылся — пробормотал он, — потому что ему больше нечего защищать”».

Память о великом корсиканце в Дубровнике оказалась короткой: построенный по указанию Наполеона форт Империял на горе Срч да французские пушки у бойниц крепости. Родные царь-пушки, маркированные изображением святого Влаха, дубровчане уберечь не смогли: европейским империям иногда хватает военной мощи, но никогда — бронзы. Все трофеи пошли в переплавку; сохранилось только три орудия из Дубровника, да и те не в хорватских музеях. А местные экспозиции копят свидетельства былой славы, которую город так и не смог возродить после нашествия Наполеона. Дубровник — боюсь, навсегда — остался пусть восхитительной, но провинцией, всего лишь приманкой для туристов. Памятником собственной богатой истории.

Летом на Ядрани царит жаркий южный ветер, юго. Юго дает особую волну, медленную, не слишком высокую, с широким гребнем. А вот холодные осенний и зимний ветры, трамонтана и бора, нагоняют быстрые и частые валы. Снега на этих широтах почти не бывает — так, слякоть. Тем не менее и в теплых краях

скучают по весне — ее приносит ветер маэстраль. Воспеть ветер — в этом смысл адриатической поэтики. Ее мифические особенности в романе «Ящик для письменных принадлежностей» выстроил в систему символов сербский писатель Милорад Павич: «У музыкальной шкатулки есть семь мелодий. По одной для каждого вида морского ветра... Она играет ту или иную мелодию в зависимости от того, какой дует ветер. Стоит измениться ветру — меняется и мелодия... О ветре под названием “юго” сообщает мелодия, начинавшаяся словами “В рубашке тихой завтрашних движений...”, если дул ветер бора, то слышалась песня “Тишина такая, как тогда, когда синие цветы молчат...”, ветер трамонтана завывал под звуки “День мой смеркается дважды”...»

Без ветра не увидеть солнца после туч и звезд после шторма. Без ветра нет смысла ставить парус. Без ветра не будет дождя, не поднимется благородная виноградная лоза. Без ветра не дожидаться перемен. Перемены придут быстрее, если ждать ветра на берегу моря. На берегу Средиземного моря.

Посередине Земли.

Система понятий

Слово «Балканы» в переводе с турецкого языка означает «горы, поросшие лесом» (Balkanlar). В том, что это — истинная правда, легче всего убедиться где-нибудь на юге Сербии, в Косове, на востоке Боснии или в Македонии. Гор, скал как таковых, собственно, часто просто не видно, так надежно камень укрыт листвой и хвоей. Почти не встретишь голых отвесных склонов, нет островерхих пиков, и даже эхо в этих краях звучит приглушенно. Невероятным образом по

обе стороны извилистой дороги, сколько хватает глаз, вздымается лес.

Мягкость его хвои и свежесть зелени обманчивы, потому что чаща таит в себе опасность и вызов приключения. И все-таки турки правильно выбрали название: много позже ученые подтвердили, что флора Балкан — самая разнообразная во всем Средиземноморье, около четверти из шести с половиной тысяч видов растений больше нигде в мире не встретишь.

Горная Балканская система начинается у Черного моря — отроги хребта Стара-Планина в Болгарии (который, кстати, турки как раз и именовали «Балканские горы») лишь чуть-чуть не дотягиваются до прибрежных Бургаса и Варны. С запада эти горы ограничивает невзрачная речушка Тимок, но Балканы тут не заканчиваются. Настоящий рубеж между двумя географическими терминами, между двумя регионами и двумя мирами пролегает километров на семьсот западнее — именно здесь остановилось османское наступление на Европу, здесь Балканы превращаются в Альпы, здесь вобравшая в себя сильное малоазийское влияние суматошная южнославянская цивилизация отступает перед куда более совершенной в своей правильности, но, увы, часто лишенной чувства полета германской рациональностью.

На карте обозначение «Альпы» возникает едва ли не посередине политического Балканского региона. Невысокая горная гряда вдоль Адриатического побережья, отделяющая Герцеговину от средней части Далмации, именуется «Динарские Альпы». Но если называть этот хребет просто «Динары», то об «ошибке» ученых можно и забыть. Динары — тоже преимущественно «горы, поросшие лесом», к тому же давшие науке еще один термин, пусть и полушутливый. «Динарский тип мужчины» определяет дух и облик

двухметрового рокового красавца-южнославянина, широкоплечего, черноволосого и густобрового, с открытой, чуть ироничной, улыбкой, точно знающего цену себе самому и всему, что окружает его в этой жизни. Если политика в основном разделяет народы, а география всего лишь кое-что поясняет в способе их существования, то антропология восполняет многие пробелы в человеческих знаниях. Как раз такие парни «динарского типа» многозначительно молчат за столиками кафе и сурово управляют спортивными автомобилями от балканского севера до балканского юга — от вполне равнинного хорватского Чаковца до какого-нибудь полусельского Прилепа в Македонии. Они везде одинаково мастерски балуются с баскетбольным мячом, они неизменно вспыльчивы и повсюду одинаково гостеприимны. Может быть, как раз поэтому Словения, оказавшись в составе Югославии и участвуя во всяких процессах «балканской интеграции», десятилетиями как-то мирилась с тем, что на ее территории расположены сразу две альпийских горных гряды — Савиньские и Юлийские Альпы.

Но все же в местной словесной игре главенствует не обозначение «горы» и не название самих этих гор, а понятие «система». Балканы — в такой же степени символ слегка организованного хаоса, веселого безумия и неумной, превосмогающей рассудок страсти, в какой Альпы — знак европейских сытости, самодовольства и рафинированности. Ведь Швейцария — это прежде всего альпийские луга, Австрия — это горные лыжи (не случайно, между прочим, на английском — «alpine skiing», «альпийское катание»), юго-восток Франции и север Италии — это не в последнюю очередь альпинисты и альпинизм. Балканы, напротив, всего лишь и только «балканские войны», «пороховой погреб» и необузданный темперамент. В Альпах принято играть на ладных гармошках и нежных

тирольских дудочках, а на Балканах — на визжащих скрипках и стонущих духовых. В Альпах дегустируют белое вино, иногда столь терпкое, что сводит челюсти, на Балканах пьют густое, почти как кровь, красное. Альпы, наконец, — это царство нежных эдельвейсов и альпийских (альпийских!) фиалок, владения благородного холодного камня и сверкающего чистого снега, а Балканы — дикие «горы, поросшие лесом».

На тысячекилометровой географической линейке, от восточнобалканской вершины Ботев до пика Триглав в Юлийских Альпах, к этим обстоятельствам относятся по-разному. Сама идея привить, например, словенцам и албанцам общие представления о географии и государственности выглядит столь же причудливо, как одинаково советские паспорта эстонцев и туркменов. Не случайно на дальнем востоке Балкан принадлежностью к «балканской цивилизации» гордятся, а на крайнем западе той же «системы» — тягостятся. Македония, например, с громадным достоинством принимает определение «республика в сердце Балкан», а в Словении на заре независимости рассматривали украшавший туристические проспекты лозунг «Страна на солнечной стороне Альп» как заявление прежде всего политическое. В Загребе и Любляне в определенном контексте слово «балканец» вообще звучит как ругательство. С «этим» менталитетом и «этими» традициями здесь с некоторых пор не хотят иметь ничего общего — утверждая, что и не хотели никогда.

Общее прошлое, правда, частенько прорастает в настоящее, иногда давая повод для забавных сопоставлений. Вот слова люблянского кинорежиссера Дамиана Козоле: «Словения — это страна, где нет ни балканской экзотики, ни западной урбанистичности. В этой стране можно прилично жить, но не более того — киносценарист может здесь сойти с ума от

скуки». Но если на окраине «предальпийского» Марибора приедем в обязательном порядке стараются продемонстрировать якобы старейшую в Европе виноградную лозу, то на побережье «постбалканской» Черногории иностранцам с такой же гордостью предъявляют самое древнее в Европе оливковое дерево. Повсюду, хотя и совсем по-разному, живет миф о вселенской общности славянского происхождения, в обязательном порядке прошедший очистку от советских и югославских идеологических построений. В люблянкой пивной «Шестица» коллега-журналист с такой же горячностью убеждал меня в особенной близости русского и словенского языков, с какой в ресторане «Ядран» в Скопье почтенный академик разъяснял: дети Владимира-Крестителя были наполовину македонцами.

Что характерно — оба они говорили чистую правду.

В долине быстрой и чистой альпийской реки Сочи проходил один из самых кровавых фронтов Первой мировой войны, Сочанский. За три года боев между итальянской и австро-венгерской армиями здесь погибло более миллиона человек. Австрийское командование формировало полки для Сочанского фронта из местных жителей — словенцев, рассчитывая, что опасность установления в этих краях итальянской власти скажется на боевом настрое призывников. Бои шли почти непрерывно, и линия фронта менялась чуть ли не каждый день, то поднимаясь, то опускаясь на сотню метров по горным склонам. В 1917 году на подступах к вершине Крн разыгралась крупнейшая в современной военной истории горная битва. О том, сколь ожесточенным оказалось это сражение, напоминает громадное военное кладбище в городке Кобарид. Крест на колоколенке церкви святого Антона в равной степени благословляет всех убиенных, невзирая на их национальность.

Стратегическую горную дорогу через перевал Вршич строили и обслуживали русские военнопленные — их было около двадцати тысяч. Голодные, полураздетые, истощенные тяжелой работой и невыносимыми условиями содержания, они гибли сотнями; сколько их навеки осталось в Альпах — не скажет никто. «Их имена знает Бог» — так часто пишут на могилах неизвестных солдат.

В марте 1916 года с горы Вршич сошла снежная лавина и погребла под собой сто семьдесят работавших на дороге военнопленных и сорок охранников. Погибших русских воинов похоронили по православному обряду, а через несколько месяцев их товарищи-пленные возвели возле маленького кладбища деревянную двуглавую часовню. Дорогу на перевал Вршич с той поры называют «русской», а о часовне и кладбище трогательно заботится местное краеведческое общество. Лампадка под иконой в часовне, вход в которую обычно открыт, не гаснет.

«Русская дорога» на Вршич — места поразительной красоты. Это невероятной прозрачности воздух, купоросной голубизны речка Соча, огромной высоты небо. Здесь и разок-то побывать — счастье, наглотаться бы вдосталь и впрок этой чистоты. Однажды, впрочем, Вршич и мне наглядно продемонстрировал, что такое горы. В зимней темноте машина застряла в снегу высоко на перевале, и, не оказись случайно поблизости команды профессионалов-спасателей, вечер не окончился бы посиделками в горной избушке за стаканом грога.

Я не горный и не морской, я городской равнинный человек, поэтому взгляд на жизнь с балкона для меня привычнее. Морское пространство, честно говоря, несколько пугает бесконечной открытостью, а любые горы слегка смущают противоестественным вектором движения по вертикали. Может быть, потому, что страна, в которой я родился и вырос, так ве-

лика, а ее столичные города, горные высоты и морские берега столь отдалены друг от друга во времени и пространстве. Вот это для меня — экзотика: жить и умереть в большом городе, раскинувшемся у подножия высокой горы на берегу бескрайнего теплого моря. На Балканах, в бывшей большой Югославии, в нынешних независимых Македонии, Словении, Хорватии, Боснии, эта система понятий вполне естественна, даже если речь идет о стоящем у слияния двух равнинных рек Белграде. Треугольник «город — море — горы» устойчив, это жесткая цивилизационная конструкция, у которой нет ни катетов, ни гипотенузы.

Когда республики были монархиями



Миф о принцах
и благородном прошлом

Нужно вовремя открыть свое прошлое,
ведь у него тоже есть свой срок годности,
и он может истечь...

Архондула Нехама

Демократия с короной

«Дьявольскую машину» 9 сентября 1934 года на улице Марселя привел в действие македонский революционер Владо Георгиев. Взрывом были убиты король Югославии Александр I, направлявшийся с визитом в Париж, и сопровождавший его министр иностранных дел Франции Луи Барту. Этот теракт, по утверждениям историков, инспирировали хорватские националисты, за которыми стояли тайные службы Италии, Венгрии и Германии. Последние слова умирающего короля, как сочувственно писали газетчики, оказались пророческими. Испускавший дух монарх прошептал: «Берегите Югославию...»

Александр Карагеоргиевич — не единственный сербский и югославский монарх, павший жертвой заговора. Короткая, по мировым меркам, двухвековая белградская дворцовая летопись изобилует политическими убийствами и переворотами. Весь XIX век на сербском троне чередовались представители враждовавших между собой фамилий — Карагеоргиевичи и Обреновичи, и их сторонники не выбирали средств для выяснения отношений.

Особенно не везло Обреновичам. В 1868 году жертвой покушения, мотивы которого до сих пор не выяснены, а исполнители неизвестны, стал князь Михал Обренович. Через три десятилетия едва избежал смерти от руки злодея уже отрекшийся к тому времени от престола Милан Обренович, в период

правления которого княжество Сербия было провозглашено королевством. Милан вернулся из эмиграции, чтобы помочь «справиться со страной» своему сыну Александру. Однако от семейной судьбы не уйдешь: Александра вместе с супругой в мае 1903 года жестоко умертвили офицеры-заговорщики. Это и был конец династии...

В сражении за шаткий трон победили Карагеоргиевичи, потомки Черного Георгия, богатого сербского торговца Карагеоргия (Караджордже), в 1804 году возглавившего народное восстание против власти турок. Внука Карагеоргия Петра (того самого, что сменил Обреновичей) придворные летописцы называли королем-Освободителем: он сумел выиграть несколько войн и заметно расширил территорию страны. Убиенный в Марселе Александр I Карагеоргиевич вошел в историю нации как король-Объединитель. Под его скипетром диктатора создавалось единое Королевство сербов, хорватов и словенцев (преобразованное затем в Югославию), которым поначалу Александр правил как регент при престарелом отце. Даже детям своим этот монарх дал символические имена: старшему сыну досталось сербское Петр, среднему — хорватское Томислав, младшему — словенское Андрей. А вот нынешнего главу югославского королевского дома язвительные журналисты называют Вечным Престолонаследником: у него может появиться корона, но вряд ли появится настоящее королевство.

«Спасибо за то, что вы посетили нашу Интернет-страницу. Желаю всего самого лучшего вам лично, вашим семьям и друзьям, и к моим пожеланиям присоединяются моя супруга принцесса Екатерина и три наших сына, принцы Петр, Филипп и Александр». Этот сайт во всемирной компьютерной паутине и есть виртуальное царство Александра Карагеоргиевича.

Единственный сын югославского короля Петра II и принцессы греческой и датской Александры по-

явился на свет в изгнании, в апартаментах на втором этаже лондонского отеля «Клэридж» 17 июля 1945 года. Югославская конституция предписывала: наследник престола обязательно должен родиться на родной земле. Поэтому британские власти на 24 часа провозгласили номер отеля югославской территорией. Все остальное тоже было серьезно: крестил младенца патриарх Сербский Гаврило, а крестными принца стали король Георг VI и (тогда принцесса) Елизавета.

О возвращении в отечество, где воцарились коммунисты, нечего было и мечтать. Карагеоргиевичей, эмигрантское правительство которых в годы войны поддерживало противников Тито, новая власть лишила гражданства. Королевскую собственность национализировали. Александр, родители которого не ладили между собой, учился в частном интернате в Швейцарии, потом — в Соединенных Штатах и Шотландии, еще позже окончил Британскую королевскую военную академию. В 165-м кавалерийском полку Ее Величества дослужился до звания капитана. В начале семидесятых, вскоре после кончины короля Петра, оставил воинское поприще и занялся страховым бизнесом. Использовать королевский титул Александр в эмиграции не стал, однако от престола не отрекся и не отказался от династических прав.

А династия продолжалась: после женитьбы Александра на принцессе из португальско-бразильской династии Орлеан-и-Браганса в семье Карагеоргиевичей появились три сына. Репортер американского информационного агентства АП писал в своем отчете: «На свадебной церемонии присутствовали больше полутысячи аристократов со всей Европы, все — с блестящим прошлым, но лишь немногие — с блестящим будущим». Но и королевские браки не всегда заключаются на небесах: в 1983 году супруги расстались. Еще через два года Александр женился вновь — на 42-летней дочери богатого греческого промыш-

ленника Катарине Батис, дав ей в качестве свадебного подарка титул кронпринцессы.

Катарина, надо отдать ей должное, старательно играет роль монархической матроны: она сопровождает Александра в большинстве поездок, поддерживает начинания мужа, общается с журналистами. Вот несколько цитат из беседы кронпринцессы с корреспондентом газеты «Слободна Србия»: «Я чувствую себя матерью своей страны»; «Когда я слежу за тем, как мой муж и мои дети разговаривают о политике и будущем Югославии, то чувствую себя счастливой»; «Уверена, что мой муж — Божий дар Сербии, Черногории и народу».

С последним выводом согласны далеко не все.

Интересно, что богатая монархическая традиция в сербских культуре и общественном сознании не сопровождается популярностью идеи реставрации. В средние века на Балканах возникало несколько сербских королевств. Колыбелью государственности считаются Косово и лежащая к северу от него область Рашка. В Рашке и правил в начале VIII века первый сербский владар — Вишеслав. Первым среди сербских правителей (в разные эпохи они назывались «владарами», «князьями», «жупанами», «деспотами») короновался в 1167 году Михал, а самой известной средневековой сербской династией считается династия Неманьичей. В 1345 году владар Степан Душан принял титул «сербского царя». А последним сербским царем считается потерявший трон в 1458 году Лазар Бранкович. Экспансия Османской империи превратила историю монархии в Сербии на три с половиной века.

Как иронично писал еженедельник «Репортер» из города Баня-Лука, сербские политики вспоминали об Александре только тогда, когда он становился им нужен. В 1991 году лидер партии «Сербское движение обновления» Вук Драшкович предложил назначить престолонаследника командиром Сербской гвардии

на том основании, что Александр — проверенный патриот, получивший классическое военное образование. Кронпринц не отреагировал, но осенью того же года впервые в жизни прибыл на родину предков. В Белграде «королевскую семью» ждал восторженный прием десятков тысяч граждан. Расчувствовавшийся престолонаследник в аэропорту Сурчин поцеловал поднесенную ему в чаше горсть родной земли, а на митинге в столичном парке Карагеоргия, на ужасном сербском языке, читая по бумажке транскрибированные буквы, произнес: «Я предлагаю себя для службы Отечеству». Этот визит стал поворотным в жизни Александра: он решил серьезно заняться политикой.

Вскоре был основан Королевский тайный совет, нечто среднее между администрацией президента и правительством. Девять членов Тайного совета, деятельность которого координирует белградский архитектор Драголюб Ацович, геральд династии, занимаются решениями организационных вопросов. Для принятия стратегических решений Александр создал Совет Короны — совещательный орган, три десятка членов которого (среди них и писатель Милорад Павич) назначаются престолонаследником пожизненно.

Окружение Александра бдительно следит за соблюдением монархического церемониала. Регулярно выпускаются сообщения для прессы о деятельности кронпринца и его канцелярии. Существует длинный реестр орденов Карагеоргиевичей, которыми Александр время от времени награждает приближенных: орден Белого орла, орден звезды Карагеоргия, Королевский орден Милоша Великого. Та или иная степень родства связывает Карагеоргиевичей с династиями Виндзоров, Гогенцоллернов, Браганса, Кобург-Гота, Петровичей-Ньегошей, Романовых. Строго регламентирован порядок наследования югославского престола. За Александром в очереди выстроились восемь человек: помимо трех его собственных сыновей, это три наследника принца Томислава и два отпрыска принца Андрея Карагеоргиевичей. Напраши-

вается вывод: монархическое древо здорово, у него — глубокие корни и пышная крона. Пока нет только королевства.

Летом 1992 года престолонаследник вновь приехал в Сербию и оставался в республике две недели, потом еще несколько раз ездил «по королевским местам». Общественные восторги со временем поутихли: во-первых, к Александру привыкли, во-вторых, его сербский язык не улучшался, и кронпринц с трудом, с тяжелейшим британским акцентом, отвечал даже на несложные вопросы. Одна бульварная белградская газета опубликовала гороскоп престолонаследника, в котором утверждалось: в момент рождения младенца небесные светила располагались таким образом, что Александр оказался лишенным лингвистических способностей. Этот недостаток он компенсирует другими талантами: кронпринц отлично бегаёт на лыжах (в 1972 году он стал чемпионом британской армии по лыжному гонкам), ходит под парусом, ныряет в море с аквалангом и занимается подводной фотосъемкой. Впрочем, в окружении престолонаследника утверждают, что он свободно изъясняется на шести языках. Кронпринцесса Катарина, у которой нет ни капли сербской крови, владеет четырьмя языками и «вместе с принцами интенсивно изучает сербский».

Александр глубоко переживал многолетнюю оторванность династии от родины предков и то обстоятельство, что монархическое, нормальное, с его точки зрения, развитие страны было искусственно прервано. Вот что он заявил в интервью «Радио—021» из города Нови-Сад: «Я думаю, что монархия в Сербии — это часть демократии, а не альтернатива ей. Республиканский строй в Сербии введен насильственно, насильственными методами он и поддерживался. Восстановление монархии означало бы конец идеологического ослепления, морального аутизма и политики вечных раздоров как метода неограничен-

ной тиранической власти». Себя Александр считает «символом конституционной монархии, которая защищает демократию и права человека, гарантирует стабильность, единство и преемственность». Однако требований немедленной реставрации престолонаследник не выдвигает, понимая: чем активнее он будет действовать во благо интересов Югославии, тем больше у него шансов на триумфальное возвращение во власть. «Распорядок каждого моего рабочего дня диктует ситуация в Отечестве», — утверждает он, подчеркивая: все помыслы, все деяния, все мечты посвящены только одному — благоденствию и просвещению народа. «Мой идеал — народная монархия, — заявляет Александр, — такая монархия, как в Великобритании, только лучше».

Во время конфликтов в Боснии и Косове кронпринц резко протестовал против использования НАТО военной силы. Пытаясь способствовать созданию единого фронта борьбы против власти Слободана Милошевича, в конце девяностых годов он организовал три конференции оппозиции. Но, как ни старался Александр, его вес ни в Югославии, ни за ее пределами значительно не увеличился, а политический бомонд в Белграде воспринимает кронпринца скорее как симпатичную фольклорную фигуру.

Через три недели после падения режима Милошевича, в октябре 2000 года, Карагеоргиевич вновь приехал в Белград, где его приняли представители новых властей. Я наблюдал за чествованием Александра в патриархии Сербской православной церкви. Церемония смотрелась очень торжественно, но все же отдавала костюмированным представлением — примерно так же помпезно проходило захоронение в Санкт-Петербурге мощей императорской семьи.

Югославский престолонаследник не преминул посетить и родовое поместье Опленец, где расположена фамильная усыпальница. В ней покоится прах скон-

чавшегося за несколько месяцев до свержения Милошевича принца Томислава, младшего брата потерявшего Югославию короля Петра — того самого брата, что получил хорватское имя. Говорят, отношения дяди и племянника не сложились: Томислав выражал недовольство тем, что Александр закрепил за собой право наследования престола. Но раздора в семье дядя вызывать не стал, может быть, потому, что не чувствовал вкуса к занятиям большой политикой. В начале девяностых Томислав получил разрешение на возвращение из эмиграции и жил, возделывая в Опленце виноградники...

Октябрьский визит в Югославию принес Александру и практическую пользу: Белград заявил о намерении вернуть Карагеоргиевичам гражданство и часть отобранного когда-то государством имущества. Воодушевленный Александр открыл в Белграде канцелярию. Вскоре парламент Югославии специальным указом вернул Карагеоргиевичам гражданство. 12 марта 2001 года все в том же 212-м номере отеля «Клэридж» членам семьи кронпринца и ему самому были вручены соответствующие бумаги. С трудом сдерживая волнение, Александр сообщил: «Я возвращаюсь домой...» Это возвращение состоялось 17 июля 2001 года, через несколько дней после того, как югославские власти приняли решение о передаче королевской семье ключей от белградских резиденций Карагеоргиевичей Белый двор и Старый двор. «Здания находятся в хорошем состоянии, — удовлетворенно сообщил журналистам хозяйственник королевской фамилии Драголюб Ацович. — Правда, в одном месте, в Белом дворе, протекает крыша».

Стоимость резиденции Белый двор оценивается в 7—8 миллионов долларов. Комплекс, задуманный как резиденция для принцев Петра, Томислава и Андрея, построен в середине тридцатых годов прошлого века, однако Карагеор-

гиевичи прожили в здании всего несколько лет, до вынужденной эмиграции. Уже в 1944 году в Белый двор заселился Иосип Броз Тито, после смерти которого резиденция «по наследству» переходила от одного югославского партийного руководителя к другому. Последним обитателем Белого двора «по должности» стал Слободан Милошевич, поскольку новый президент Воислав Коштуница от использования резиденции отказался.

Стремительное изменение статуса королевской семьи вызвало в стране недовольство. Один белградский политик назвал действия властей «сомнительными»: «Пока оппозиция боролась, Карагеоргиевичи с комфортом жили за границей». Александр тем временем продолжает вести тонкую тактическую игру. «Моя роль — уважать правительство страны, создавать рабочие места, привлекать иностранные инвестиции. Я чувствую, что народ по всей стране с теплотой относится к монархической идее. Монархия — отличное решение. Я — нейтрален, я могу обеспечить единство и преемственность политики», — сообщил югославский престолонаследник. Но «отличной идеей» монархия, похоже, представляется не всем, хотя сентиментальные воспоминания о былом периодически охватывают югославов.

В 1998 году в городе Ниш приняли решение восстановить конный памятник деду ныне действующего престолонаследника. Монумент королю Александру-Объединителю жители Ниша воздвигли еще до начала Второй мировой войны, но в конце сороковых в пылу революционных преобразований бронзовую статую работы скульптора Радеты Станковича уничтожили. Историческую ошибку решили исправить полвека спустя. Победитель нового конкурса лишь слегка изменил эскиз памятника: «его» Карагеоргиевич сжимал саблю в высоко поднятой правой руке, а не держал горизонтально опущенной, как прежде.

Это возмутило вдову скульптора Станковича: по ее мнению, опущенная рука монарха — символ его миролюбивой политики, а поднятая сабля — призыв к борьбе, если не угроза. Начался судебный процесс, восстановление монумента затянулось...

Югославия не торопится звать Карагеоргиевича на царство.

Венский шницель

Наследник императорского престола Карл фон Габсбург-Лотринген и его супруга Франциска, урожденная Тиссен-Борнемиса, дали своему сыну двойное имя Фердинанд Звонимир. И не случайно: Фердинанд I Кастильский был первым Габсбургом, получившим в наследственное владение Хорватию, а Звонимиром звали одного из средневековых хорватских королей. Полное имя малыша куда длиннее его короткой пока жизни — он родился 21 июня 1997 года в Зальцбурге — и звучит так: Фердинанд Звонимир Мария Балтхауз Кейт Михаэль Отто Антал Бахам Леонард.

Младенца крестили в соборе Святого Стефана в центре хорватской столицы в присутствии двух сотен гостей и огромной толпы зевак. Родителей связывали с Загребом не только фамильные, но и личные воспоминания романтического характера: в этом городе они познакомились в начале девяностых, когда по линии разных гуманитарных организаций оказывали помощь воюющей республике.

В австро-венгерский период своей истории Загреб боролся с Прагой за звание третьего, после Вены и Будапешта, города империи. Кандидатов на этот статус нашлось немало: к началу XX века в состав Габсбургской монархии входили (или были зависимы от

нее) обширные европейские территории, принадлежащие ныне 12 государствам.

Современные южнославянские государства бережно собирают осколки имперской славы — почти так же старательно, как надменная Вена хранит воспоминания о своих бывших, как сказали бы в России, регионах. Австро-Венгрия, подобно прочим империям, смотрела на запад, а богатела и прибавлялась востоком. Достаточно сравнить архитектуру зданий театров в Вене, Загребе, Братиславе, Будапеште, Праге, Львове, Риеке, чтобы понять: это только кажется, что великие державы умирают — на самом деле они просто засыпают до поры, чтобы изобрести во сне новую форму единения. Вот так же лет через сто наблюдательный украинский школьник, совсем не говорящий и не понимающий по-русски, обратит внимание родителей на странное обстоятельство: как похожа архитектура высотных, тяжеловесных зданий со шпилями в Москве, Минске, Киеве...

Так сейчас из прошлого по всей Центральной Европе выступает овеществленное в камне величие Габсбургской династии — все тот же «югендстиль», все тот же «бидермайер». В 95-м году в Загребе мне довелось стать свидетелем торжеств, посвященных столетию Национального театра. Организаторы юбилея с умилением вспоминали, что последний, «золотой» гвоздь, забил стоя на центральном балконе, специальным молотком (который теперь хранится в театральном музее) специально прибывший в хорватскую метрополию император Франц-Иосиф. В ресторане любой центральноевропейской столицы вы можете заказать тонкую свиную отбивную в кляре — «венский шницель», а сладкие блинчики с мармеладом или шоколадом до сих пор и на юго-востоке Польши, и на северо-западе Словении именуются исковерканным немецким словом «палачинкен».

...Адриатический курорт Опатия к северу от Риеки, некогда любимое место отдыха венской знати, не утратил благородную прелесть той поры, когда дамы носили кринолины. Стоящие рядом старые постройки XIX века, гостиницы — «Кварнер», «Мажестик», «Бристоль» — обращены парадными подъездами к морю, от которого их отделяют роскошные парки и сады, где, как в венском Шенбрунне, разбиты пышные клумбы и геометрически правильные аллеи, где по-прежнему хрустит под каблуками аккуратно просеянная галька, где тяжелые чаши фонтанов увенчаны скульптурами сальфид и русалок.

Сюда на танцевальные вечера развлекать знатных красоток и срывать цветки невинности и флердоранжа когда-то приезжали из Риеки чешские офицеры расквартированного в городе императорского уланского полка. Частенько совершал необременительные железнодорожные путешествия в Опатию и сам Франц-Иосиф с супругой. Его превращенный в памятник «императорский вагон» стоит на пьедестале — с мягкими плюшевыми диванами в просторных купе, с бронзовыми канделябрами по углам, с резными креслами за обеденным столом. Теперь в Опатии ежегодно проводится телешоу «Мисс Хорватия» и музыкальный фестиваль, организованный пианистом Иво Погореличем. Новому времени — новый статус.

В Австро-Венгрии, великой по прежним временам стране, многое было противоречивым и неестественным, и развалилась страна, как кажется, в первую очередь от собственной тяжести, под грузом внутренних проблем. В конечном счете — от дряхлости династии. История, похоже, не любит многонациональные федерации. Но веками выстраиваемая схема сосуществования под одним скипетром десятка разных народов была не лишена достоинств. Товарищ Тито, например, так сказал однажды об Австро-Венгрии: «Хорошо налаженное было государство!».

Безобидными романтическими настроениями — ах, венский кофе! ах, венская опера! ах, Габсбурги! — повеяло в конце XX века. Недостаток собственной практики госстроительства заставил молодые республики вспомнить об опыте бывшей метрополии и «подзабыть» и политические притеснения, объектом которых веками были «австрийские славяне», и беззастенчивую германизацию или мадьяризацию хорватов, чехов, поляков, словаков, словенцев, сербов.

Иногда такие поиски приводят к рождению бредовых построений. Осенью 1994 года некто Драго Минтас, лидер маргинальной «Гражданской партии Отечества», выступил с инициативой провозгласить королем Хорватии солдата, который первым ворвется в занятый тогда повстанцами-сербамми «город-ключ» Книн. По замыслу Минтаса, реставрация не только восстановила бы историческую справедливость, но и прекратила бы войну: сербы и хорваты тут же помирились бы. В Загребе идею Минтаса не поддержали, хотя она имела и историческую аргументацию. В средневековый период Хорватия несколько веков оставалась независимым государством, и короновались местные монархи как раз в Книне. Другое дело, что их потомков уже не найти, и вся хорватская знать последних веков и образована, и воспитана была в австро-венгерских традициях. Об этом свидетельствует хотя бы список членов ныне действующего в Загребе «Клуба хорватского дворянства», в котором чаще других встречаются немецкие и венгерские фамилии.

О давних, пусть и славных, временах независимости напоминают разве что названия городов, улиц и площадей, да еще внушительных размеров памятник «собирателю» хорватского государства — королю Томиславу. Король верхом на здоровенном бронзовом жеребце встречает путников у центрального загребского вокзала. О Томиславе и Томиславичах хорваты вспоминали и во второй половине XIX века, в пору национальной эмансипации, и после обретения независимости, при президенте Туджмане. Неизменно пользовались

популярностью патриотические картины художника Отона Ивековича: «Приход хорватов на Адриатическое море», «Коронация Томислава», «Смерть короля Петра Свачича на горе Гвозд» — местный аналог полотен Сурикова и Васнецова. На этих холстах гордые хорватские вожди неизменно драпировались в одежды национальных цветов, на которых обязательно мелькала шаховница — щит в красно-белый квадрат, фрагмент герба и социалистической Хорватии, и независимой республики.

В еще меньшей степени связана с «собственной» монархической династией историческая память словенцев и боснийцев. На территории современной Словении в Средневековье возникали независимые или полунезависимые княжества и графства, которые быстро попадали в зависимость от сильных соседей. Памятника какому-нибудь особенно героическому королю словенский народ не создал. Я однажды задал вопрос на эту тему министру иностранных дел Словении Лойзе Петерле. Он улыбнулся: «Мы — народ поэтов, а не воинов».

Но в Словении помнят, к примеру, князей Цельских из знатного немецкого рыцарского рода. Их княжество со столицей в городке Целье в XV—XVI веках пыталось тягаться с Габсбургами и Венецией, но закончилось это соревнование плачевно: последний представитель рода Ульрих II был вероломно убит. От княжества остался красивый замок в Целье, в подвалах которого мне пришлось однажды пробовать великолепное белое сухое вино из Випавской долины. А фрагмент со щита династии — три шестиконечных золотых звезды, выстроенных треугольником, — украшает современный словенский герб.

Босния и Герцеговина к началу XVI века полностью оказалась под властью Османской империи. До этого ее территория составляла часть то средневекового сербского, то хорватского, то венгерского королевства. Краткий период относительной независимости — и, следовательно, расцвета государственности — приходится на XIV век, когда страной в качестве вассалов венгерской короны владела боснийская

семья Котроманичей. Самый славный из Котроманичей — Твртко. На его победоносном щите на небесно-голубом фоне красовались три золотые лилии. Через шестьсот лет мусульмане-бошняки избрали их своим национальным символом. Свои вердикты Твртко подписывал так: «Божьей милостью король Рашки, Боснии, Далмации и хорватского Приморья». Однако милость была недолгой: королевство Твртко всего на несколько лет пережило своего создателя.

В эпоху Габсбургов возникло течение политической мысли, известное как «австрославизм» — теория о прогрессе и преуспевании славянских народов в рамках венской монархии. Эта теория не то чтобы была реанимирована через три четверти века после кончины империи, однако кое в чем явно пережила ренессанс. В «молодых столицах» вспомнили о концепции «миттель-Европы», когда-то выдвинутой австро-венгерским канцлером Клеменсом Меттернихом. В свете новых исторических обстоятельств эта теория пригодилась для дополнительного обоснования принадлежности хорватов и словенцев не к «балканской», а к «центральноевропейской» цивилизации. И венский шницель, и венский кофе, и столичное искусство оформления букетов, и застроенные в австрийском стиле кварталы Загреба, и Опатия с ее фонтанами и императорским вагоном — все это якобы подтверждает правоту тезиса Меттерниха о единстве центральноевропейского пространства. Поэтому в пред рождественский вечер в Любляне признаком хорошего тона считается смотреть телетрансляцию концерта из Венской оперы, а в провинциальном хорватском Карловце возрождается традиция костюмированных балов, гвоздем программы которых становится венский вальс.

Патриарх фамилии Габсбургов, отметивший на рубеже веков свой 88-й день рождения, — старший сын последнего императора Австрии и короля Венгрии

Карла I эрцгерцог Отто фон Габсбург-Лотринген. У эрцгерцога нет трона, зато есть целый список титулов и должностей: депутат Европейского парламента, председатель некоего Паневропейского союза, почетный член Академий наук нескольких стран, от Марокко до Мексики. Эрцгерцог уже полвека пишет еженедельные колонки для двух десятков газет на пяти языках. Он — автор кучи книг по вопросам истории, политики и международных отношений. Этот старик — в буквальном смысле живая история. Многие ли могут похвастаться тем, что лично протестовали против прихода Гитлера к власти и вели переговоры с Черчиллем?

После распада империи семья Габсбургов эмигрировала в Швейцарию, а затем перебралась в Соединенные Штаты. В 1961 году эрцгерцог Отто, который к тому времени женился на принцессе Регине фон Сахен-Мейнинген (у эрцгерцогской четы — семеро детей), официально отказался от притязаний своей семьи на престол. Тем не менее он всегда, когда мог, охотно путешествовал по землям, когда-то принадлежавшим его родителям. У эрцгерцога — паспорта шести государств, он — горячий сторонник национальной независимости постюгославских республик и присоединения стран Центральной Европы к Евро-союзу. По старой семейной моде Россию фон Габсбург считает неприятелем просвещенной Европы. В тех же традициях эрцгерцог воспитал своего старшего сына Карла (1961 г.р.). Таким образом, помпезный обряд крещения младенца Габсбурга в Загребе следует считать не случайностью, а закономерностью.

Как-то мне попала на глаза любопытная фотография: молодой Карл фон Габсбург-Лотринген в музейном зале с благоговением держит в руках императорскую корону, когда-то венчавшую головы его

предков. Взгляд наследника говорит сам за себя: великие державы не умирают.

Они только засыпают на время.

Принц-Золушка

Черногорский король Никола стоил пять немецких марок. Невысокую цену на гипсовый бюстик администрация музея установила с учетом непрочности материала: фигурка крошится в руках, и, чтобы сохранить ее в целости, мне пришлось непочтительно завернуть монарха в полиэтиленовый пакет. Но даже в столь неважном художественном исполнении король Никола с моей книжной полки глядит горделиво: на гипсовой груди — широкая лента и русский орден, к народной шапочке приделана кокарда с черногорским гербом — «византийской породы» орлом с белым львом на щите.

Династия Петровичей-Ньегошей правила Черногорией, как в сказке, — ровно 222 года, с 1696-го по роковой 1918-й. Именно тогда страна (как теперь утверждают — сербской силой) включена в состав другого королевства, Карагеоргиевичей, в долгом названии которого черногорцы не были даже упомянуты. Так и вышло, что сначала князь, а с 1910 года — король Никола оказался последним и самым славным в череде властителей независимой Черногории. Он продержался на престоле 58 лет, лишь десятилетие не дотянув до мирового рекорда Франца-Иосифа. Перед Габсбургами и Петровичами история поставила разные задачи: первый кроил политическую карту, затеяв европейские и мировые войны, второй вел бои местного значения за независимость маленького народа. Один всего лишь исторический миг не дожил до

распада великой империи, а срок жизни другого на три эмигрантских года оказался длиннее поры черногорской независимости.

Столица Петровичей-Ньегошей — крошечный, как и все их живописное королевство, городок Цетинье — не насчитает и двадцати тысяч жителей. Вполне провинциальное захолустье, пункт для остановки на чашку кофе по пути к лежащему за горным массивом Ловчен Адриатическому морю. Ловчен — черногорская гора легенд, вроде Олимпа или Арарата: на вершине, куда добираться по «серпантину» с 32 поворотами, выстроен мавзолью одного из Петровичей-Ньегошей, Петра II. Ловчен — еще и предмет черногорской народной гордости, что заметно по патристическому песенному репертуару и названиям местных спортивных команд.

Сколь ни мал Цетинье, этот город, как выпренок (хотя и коряво) разъяснил мне черногорский академик Душан Мартинович, — «дух и истина Черногории». И не только потому, что историческая столица. Ведь в местном монастыре находится южнославянская инкунабула «Октоих», напечатанная за 70 лет до федоровского «Апостола». Тут же, в Цетинье, хранится мумифицированная рука святого Иоанна Крестителя — как уверены черногорцы, та самая пятерня, что крестила Иисуса Христа.

Список реликвий можно продолжать — но довольно и перечня из двух пунктов, чтобы согласиться: Цетинье — дух и истина Черногории. Однако «дух и истина» ее прошлого, а не настоящего. Поэтому, наверное, в голосе историка Саши Беркульяна, который старательно, как дорогого, пусть и непрошеного, гостя, водил меня по дворцу короля Николы, сквозила неподдельная тоска: «Выражение лица Цетинье в начале XX века было совсем другим — столичным. Никола открыл в Черногории больше 120 школ, женс-

кий институт по образцу Смольного. В 1910 году Цетинье стал первым электрифицированным городом на Балканах, здесь были и стадион, и ипподром, и гольф-клуб, и 13 иностранных дипломатических представительств».

Королевский дворец-музей — под стать столице: скромный, крашенный в кирпичный цвет двухэтажный особняк с тенистым садом, похожий на подмосковную помещичью усадьбу. С первой попытки осмотреть экспозицию не удалось: во дворце отключили электричество. Зато уж после обеда администрация не только позаботилась об освещении, но и выделила мне личного и очень добросовестного гида. Во дворце, как и следовало ожидать, все оказалось по строгому протоколу: портреты монарха и его супруги Милены, исполненные придворным живописцем по случаю золотого юбилея королевской свадьбы; образцы черногорской валюты — перпера (опять же с ликами Николы); мундир гвардейца 15-го Николаевского полка Российской императорской армии, названного Николаем II в честь своего тезки и союзника. Саша Беркульян полтора часа умело топил меня в бурном потоке исторических сведений, доказывая: провинция — понятие не географическое, а духовное.

И правда: в старину, когда музеи были дворцами, а республики — монархиями, крошечная Черногория в общей шеренге занимала скромное, но в некоторых отношениях вполне достойное место. В этой крохотной стране, населенной горными племенами (племенная структура и сейчас играет некоторую роль в черногорском обществе), православная церковь стала и властью, и просветителем, и объединителем. Церковный иерарх одновременно являлся и светским правителем, а единственным бастионом власти Ньегошей долго оставался Цетиньский монастырь. Никола Петрович в полной мере ощущал себя наследни-

ком знаменитого рода, давшего стране мудрых государственных лидеров, отважных военачальников, талантливых литераторов и изобретательных ученых. Основоположник классической черногорской поэзии — тоже Петрович-Ньегош, владыко Петр II (тот самый, что покоится в мавзолее на вершине Ловчен), автор поэтического цикла «Горский венец», образца героики антитурецкой борьбы.

Николу, как и его предков, не смущал малый размер черногорской территории и ограниченность людских ресурсов: он использовал выгодное положение своей страны. Черногорский монарх успешно интриговал в европейских столицах, которые — то Рим, то Вена, то Париж, то Москва (преимущественно, пожалуй, все-таки Москва) — щедро платили ему за политическую лояльность. Суть такой политики Николе точно охарактеризовал московский историк Сергей Романенко в фундаментальном труде «Югославия»: «Черногорский “орел” питался русскими субсидиями и русским вооружением». Этот орел, как и его кремлевский собрат, двуглав; и, может, не случайно горной стране Ньегошей ее друзья и враги давали разные названия: турки называли Черногорию «Карадаг», а на западных языках, да и в местной поэтической традиции она до сих пор именуется «Монтенегро».

Черногорский монарх был активен не только политически: княгиня Милена родила ему 12 детей. Пятерых из девяти дочерей Никола удачно выдал замуж за границу (в том числе принцесс Анастасию и Милицу — в Санкт-Петербург), породнившись с «нужными» монархическими династиями. О просвещенном монархе Николе, отце народа, в Цетинье и Подгорице с удовольствием рассказывают байки не только экскурсоводы: в последние годы черногорцы с большим увлечением куют новую версию национальной исто-

рии, во многом состоящую из переработанных на современный лад мифов и анекдотов.

Вспомню в качестве иллюстрации одну такую поучительную историю, рассказанную мне черногорским поэтом и президентом так называемой Дуклянской (по названию древнего черногорского государства — Дукля) академии наук и искусств Евремом Брковичем. Итак, Никола Петрович-Ньегош был мужчиной саженого роста. Однажды во время дворцовой церемонии в Санкт-Петербурге он неосмотрительно приблизился вплотную к невысокому Николаю II. Когда придворные зашушукались, Николай неодобрительно заметил: «Вы так высоки, брат мой, что заслоняете солнце». «Только солнце выше русского царя», — с поклоном ответил Никола.

Подобные ответы дорогого стоят. Одно из свидетельств разносторонних талантов Николы Петровича-Ньегоша красуется на стене библиотеки дворца в Цетинье: «Высоко цена просвещенную и проникнутую любовью к науке деятельность и царственные заслуги князя Черногорского и Брдскаго (Брда — «горы», одна из черногорских территорий. — *А.Ш.*) Николая I для народного образования в его стране, его поэтические произведения, совет Императорского Санкт-Петербургского университета... единогласно избрал Его Высочество почетным членом университета и постановил просить Его Высочество о принятии сего звания».

Его Высочество соизволил звание принять.

Пасторальная картинка народного благоденствия под орлиным крылом Петровичей за пределами Черногории и прежде, и теперь подвергалась сомнениям. Вот что, например, писал о Черногории в книге «Воспоминания» современник короля Николы, известный российский историк и политик начала XX века Павел Милюков: «Из хороших источников я знал уже закулисную сторону плохо раскрашенной декорации,

умилявшей наших официальных панегиристов славынства. Камарилья, заслонившая от князя истинное настроение страны, население, отданное на поток и разграбление камарильи, полное отсутствие правосудия, бесцеремонное разграбление населения тяжелыми поборами, продажа иностранцам лакомых кусков народного богатства и произвол, произвол сверху до низу». Но, конечно, Милюкова — да что там какой-то Милюков! — в сегодняшнем Цетинье вспоминать не любят.

Героическая судьба Николы Петровича-Ньегоша имела трагический финал: монарх скончался в 1921 году в эмиграции. Венец возложили на чело принца Михайлы, решения от имени которого поначалу принимал регентский совет. Любопытно, что после окончания Второй мировой войны повзрослевший Михайло принял предложение югославских коммунистических властей вновь обосноваться на родине и получил должность шефа службы дипломатического протокола Министерства иностранных дел. Однако через пару лет он все же вернулся в Париж.

А останки короля Николы нашли успокоение в родной земле только летом 90-го года. Его прах (на траурной церемонии присутствовали около 250 тысяч человек — почти половина населения Черногории) перезахоронили в Цетинье. В те дни Черногорию впервые в качестве престолонаследника посетил сын короля Михайлы Никола, в обычной жизни — парижский архитектор с прошлым студента-анархиста. Вот что позже вспоминал Никола Петрович в интервью пражскому еженедельнику «Респект»: «Мы всегда жили более чем скромно, я не был воспитан родителями в элитарном духе голубой крови и монархических традиций. Мне были ближе республиканские традиции. Я принимал активное участие в студенческом движении и в 68-м году даже дрался на баррика-

дах в Париже. Черногорию в ту пору я воспринимал как героическую семейную легенду».

В середине шестидесятых парижский студент и черногорский престолонаследник Никола «автостопом» отправился в Югославию. В Цетинье он навесит королевский дворец, когда-то принадлежавший его предкам: «Билетер отказался брать с меня деньги за посещение семейного дома, и на площади перед зданием собрались человек 300 — поглазеть на принца со студенческим рюкзаком за плечами».

Теперь Никола Петрович, статный черноволосый мужчина, муж красавицы марокканки, отец двоих детей, неофициально представляет интересы Черногории во Франции. Никола организует в Цетинье фестиваль искусств «Бьеннале», периодичность проведения которого, правда, не всегда совпадает с заявленным названием. Престолонаследник в меру сил и невеликих, насколько можно понять, для особы королевской крови финансовых возможностей занимается гуманитарной деятельностью.

Но в большую политику Никола, в отличие от Александра Карагеоргиевича, предпочитает не вмешиваться. «Королевская семья является частью культурного наследия, — считает он. — Напрасно некоторые думают, что члены монархических династий — люди из сказок, которые могут совершать чудеса. На самом деле многие из них не знают ни языка, ни культуры, ни менталитета жителей своих стран. Мне, например, не близок мир европейских королевских семей, хотя я прекрасно знаком с многими его представителями. Я чувствую себя скорее Золушкой, чем принцем, и куда больше политики меня интересуют архитектурные, гуманитарные и культурные проекты. Но я отдаю себе отчет в том, какая ответственность на меня возложена, понимаю, что мое имя принадлежит всему черногорскому народу. И если однажды

это имя Черногории потребует, моей обязанностью будет забыть о личных интересах».

Престолонаследник не зря бережно выбирает выражения. Сколь бы сильным ни было стремление черногорцев нащупать прервавшуюся на десятилетия некогда мощную традицию, возвращение страны к независимости вряд ли повлечет за собой реставрацию монархии. Маленькие так же сильно озабочены своей зависимостью, как великие — своим величием, но даже самый блестящий символ государственной самостоятельности — корона — чаще ведет в прошлое, а не в будущее.

«Варварами называют народы, в языке которых даже нет трех букв: R, L, F, — с коих начинаются три латинских слова — Rex, Lex, Fides — король, закон, вера. Ибо нет у этих людей ни закона, ни государя, ни веры либо познания Бога», — писал в XVII веке хорватский просветитель Юрай Крижанич. Крижанич верил в мессианскую роль России, мечтал о создании общеславянского языка на основе русского, но в Москве поддержки своим проектам не нашел, а был бит плетьюми и сослан в Тобольск. Но и в сибирской ссылке Крижанич продолжал научные изыскания.

Он знал точно: буквы Р, Л, Ф есть во всех славянских языках.

Молчание свечи



Миф о святых и мучениках

Учителей я не люблю: вместе со знаниями они, как собака блох, переносят свои заблуждения и ошибки.

Милорад Павич «Пароль»

Богоматерь в горах

На исходе летнего дня Меджугорье посетила Богородица. На склоне холма Подбрдо она благословила шестерых хорватских подростков, а вместе с ними — и весь затерянный в каменистых холмах Западной Герцеговины городок, с того самого дня, 25 июня 1981 года, ставший для паломников вторым Назаретом. Человек грешен, и чудо небесное не убергло Герцеговину от крови и слез. Через десять лет после Девы Марии сюда пришла война.

Герцеговина — край замкнутых, упорных в своих убеждениях и заблуждениях людей. Красивые, суровые, яркие места — жаркое солнце, синее небо, белесый камень, красная земля. Земле этой природа дала не так уж много: виноградную лозу да табачный лист. От недалекого Адриатического моря Герцеговина отделена горной грядой, что на протяжении веков означало: отделена и от цивилизации тоже. Горы, быть может, дарили ощущение высоты, приближенности к небу и к Богу, но лишали пространства и перспективы.

В лишениях жизни дух укрепляла вера. Хранителями католических устоев, хорватского языка и национальных традиций в Герцеговине веками были монахи-францисканцы. Народное сопротивление туркам, названное поэтом Иваном Мажураничем борьбой «за славный крест и золотую свободу», как и идея независимости, в этих краях проникнуто особой патетикой.

Набожным хорватским крестьянам требовалась духовная опора — и они находили ее в слепом следовании национальному идеалу и католической вере. А Господь, наверное, искал здесь свою противоположность — диковатое обаяние этих мест, кажется, удачнее сочетается со святой прелестью женского лика, чем с суровой скорбью мужского. И оттого тоже культ Великой Девственницы наполнен для местных жителей особым смыслом. Мария, Мариана, Марина, Мара, Марица, Маре, Марин, Маринко, Мариан — в Герцеговине часто дают младенцам именно такие имена. Храмов, посвященных Богоматери, в этих краях не счесть.

Бог видит все, он милосерден к тем, кто верит без оглядки и сомнения. Поэтому, когда Господь пожелал чуда, Дева Мария явилась невинным пастушкам именно в Герцеговине. Меджугорье — крошечный городок в горной долине, точка, которую отыщешь не на любой карте. Но в Меджугорье, как в Лурд и Фатиму, приходят, чтобы вернуться. За два десятилетия (одно из которых оказалось военным) эти святые для очень многих места посетили, как утверждает местная статистика, двадцать миллионов паломников.

Тропа на Подбрдо похожа на дорогу в каменоломню. Пейзаж почти марсианский: поросшая высохшей травой земля, камень с мутными медными прожилками, медленно падающее за горизонт багровое солнце. Тихий осенний вечер, какой-то густой, почти осязаемый, хоть руками трогай, воздух, в котором тонут звуки засыпающей долины. По обе стороны от тропы, сколько хватает глаз, — кресты, десятки крестов, как солдаты на карауле, большие и маленькие, деревянные и металлические, простые и вычурные. Я уселся на перекур метрах в восьмистах от места Первого Явления — здесь огромное деревянное распятие отмечает точку, с которой Пресвятая Дева обратилась к людям. Теперь с этой промежуточной стоянки на

пути к небесному откровению паломники обращают мысли к Богу. Взгрустнул и я — подумал о вечном в напрасном ожидании Явления. «Здесь царит молчание, молчание верующих, — удачно описал душевное состояние паломников местный краевед. — Здесь не дискутируют, не сомневаются, не требуют, не ставят условий, не ждут ничего, кроме того, что, может быть, предложит им Дева Мария». Но я предложения не дождался. Диво спугнули: где-то за холмом бабахнул далекий выстрел, и разлитая вокруг благодать не смогла погасить артиллерийскую канонаду. Стреляли со стороны Мостара — по боевым позициям или жилым кварталам из миномета. Дева Мария спустилась с небес за двадцать километров до войны.

«Как цветок не может жить без воды, так человек не может жить без милости Божией». Эту истину Пресвятая Дева однажды поведала Вицке Иванкович, а Вицка сообщила остальному миру. Четверых юных девушек и двух юношей избрала Богоматерь для трансляции своих посланий человечеству. Все они выросли, обзавелись семьями, трое из четырех девушек вышли замуж и родили детей — но чудесная связь Бога и Богом избранных не прерывается.

С каждым из шестерых Дева общалась индивидуально и поначалу ежедневно — до той поры, пока не поверила некоторым все десять откровений Божиих. Этим счастливым Богоматерь теперь является только раз в году: Иванке Иванкович — в день Первого Явления, 25 июня; Якову Чоло — на Рождество; Мирьяне Драгичевич — 18 марта, в день ее рождения. А Иван Драгичевич, Вицка Иванкович и Мария Павлович по сей день разговаривают с Богоматерью ежедневно (каждый из них ознакомлен уже с девятью откровениями), а через Марию Пресвятая Дева начиная с 25 января 1987 года ежемесячно передает верующим всего мира свои послания. Вот как объясняет Богоматерь причины, по которым она так надолго задержа-

лась в Меджугорье: «Дети мои, я веду вас тропой Иисуса. Я хочу спасти вас и, спасая вас, спасти весь мир. Ведь слишком многие живут сейчас без веры».

О ежедневных встречах с Богородицей часто и охотно рассказывает Вицка Иванкович — единственная из всей компании, кто всецело и без остатка посвятила себя служению Богу. «Явление свершается всегда в одно и то же время: зимой — в пять двадцать пополудни, летом — ровно на час позже. Дева Мария дает знать о своем появлении заранее, тремя яркими вспышками света. Наши встречи происходят во время молитвы, когда я перебираю четки. Богородица приходит в белых одеждах, в короне из звезд, ее глаза голубые, ее волосы черные, а щеки розовые. Она парит в воздухе, стоя на облаке, и ноги ее никогда не касаются земли».

Вицка Иванкович до сих пор живет вместе с родителями в старом доме у подножия Подбрдо. Каждое утро она выходит на крыльцо, чтобы благословить верующих и страждущих, которые цепочкой бредут (кое-кто, кстати, босиком, с тяжелым крестом на плече), минуя квадраты виноградников и табачных плантаций, на божественную высоту. Вицка не похожа на Деву Марию, но столь же открыта, добра и мила, и ждет она одного — десятого откровения Богородицы, постигнув которое, собирается постричься в монахини. «То, что нет у меня частной жизни, — это милость Бога и воля Бога, — уверена Вицка, — потому что нет в мире ничего сильнее духа Всевышнего и любви Богородицы».

Нежданная игра сил небесных в Меджугорье не привела в восторг ни югославских социалистических правителей, ни Святой престол. Нет такой власти, светской или духовной, которой пришлось бы по нраву незапланированное возникновение нового божественного места. Уже на четвертый день после Первого Явления — дети бегали на Подбрдо ежеднев-

но, и их общение с Девой Марией становилось все более откровенным — в городке появились толпы верующих, жаждавших чуда. Вскоре Меджугорье оцепили милиционеры, которые ждали беспорядков. Но ни те ни другие не увидели на холме Подбрдо ровным счетом ничего необычного: Богородицу довелось узреть лишь избранным. Тогда дети спросили Деву Марию, не хочет ли она явиться у приходской церкви на всеобщее обозрение, и услышали мудрый ответ: «Благословен тот, кто не видел меня, но тем не менее не утратил веры».

Тысячи и тысячи людей верили в эту божественную силу.

29 июня, на пятый день Чуда, детей отвезли на медицинское освидетельствование в Мостар. Врач пришел к выводу, что все шестеро совершенно здоровы. С той поры Меджугорье стало предметом пристального внимания и скрупулезного исследования — ученых, политиков, теологов, коммерсантов, журналистов, турагентов. Явление Богородицы по поручению Ватикана несколько лет изучали специальная Епископская комиссия и Комиссия Епископской конференции католической церкви в Хорватии. Вот цитаты из заявлений этих комиссий: «Являются ли фактами явления и послания Богоматери? Оставаясь в строгих рамках своей компетенции, заявляем, что на основе проведенных исследований эти факты пока подтвердить невозможно... Мы признаем Меджугорье святыней. Это означает, что мы не имеем ничего против того, чтобы кто-то возвеличивал Богоматерь таким способом, который не противоречит учению Святой церкви. Мы оставляем этот вопрос открытым для дальнейшего изучения». Заявления епископов публиковала, в частности, загребская католическая газета «Глас консила» («Голос согласия»), главный редактор которой, известный в Хорватии теолог, на все мои связанные с Меджугорьем расспросы реагировал с совершенным спокойствием. «Церковь не торопится», — говорил он.

Церковь не торопится. Ватикан (или его представители) не проводит паломничеств на холм Подбрдо, но и не возражает против частной организации таких походов. С этой

позицией, правда, согласны не все — и прежде всего монахи-францисканцы, расценившие явление Девы в Меджугорье как закономерный плод стараний ордена по защите интересов христианства в Герцеговине. Возглавил «раскольническое» движение приходский священник Йозо Зовко. В восьмидесятые годы он много сделал для того, чтобы оградить детей-свидетелей и от произвола властей, и от недовольства представителей Ватикана. Священник Зовко и теперь служит мессы в местном храме Святого Якова, и до сих пор он чрезвычайно популярен в народе. Получил Зовко и международную известность — во многом благодаря тому, что после достижения Хорватией независимости загребские власти решили рассказать о меджугорском чуде всему миру. Ценой невероятных усилий реализован беспрецедентный для небольшой республики голливудский проект: режиссер Яков Седлар снял художественный фильм-драму «Госпа» («Пресвятая Дева»), в которой роль приходского священника сыграл знаменитый Мартин Шин. Картина убедительно обосновывала тезис о закономерности возникновения независимого хорватского государства, однако не давала ответа на вопрос о том, что же в действительности произошло в конце июня 1981 года в Меджугорье. Впрочем, поиски ответа на этот вопрос лишены всякого смысла. Слова Вицка Иванкович: «Тот, кто хочет верить, верит; тот, кто не хочет, свободен в своем выборе».

К такому же выводу в конце концов пришли и ученые. Вот что писал автор книги «Медицинские и научные исследования Явления в Меджугорье» Славко Барбарич: «Речь идет не о науке, а о вере. А есть ли у науки инструмент, которым можно измерить веру?». Такого инструмента у науки нет, но веру измерять все же пытались. Самое глубокое комплексное психологическое обследование «шестерки свидетелей» с их добровольного согласия было предпринято в 1998 году усилиями специалистов четырех австрийских и итальянских научных центров с невероятно громкими названиями. Обследование включало в себя десятки и сотни разного рода тестов. В итоге выяснилось, что все шестеро пациентов под-

вержены «определенным стрессовым расстройством, однако их видения не являются следствием гипнотического транса».

Но следствием чего эти видения являются?

«Возлюбленные чада мои! Сегодня я призываю вас возобновить молитвы с еще большим вдохновением — пока молитва не станет для вас радостью. Тот, кто молится, не боится будущего. Я повторяю: только молитвой можно остановить войны — войны нашего безверия и страха перед будущим. Я — с вами, и я говорю вам, дети мои: ваш мир и надежда — в Боге.»

385 1 9825. Если вы наберете этот телефонный номер, то бесплатно прослушаете на хорватском языке последнее по времени послание Девы Марии и обновляющиеся раз в неделю по средам новости из Меджугорья. Ежемесячно по этому номеру телефона звонят более двадцати тысяч человек. Если вы не говорите по-хорватски, наберите номер 387 060 325 325, и автоматический голос зачитает послание Богоматери последовательно на пяти языках. На Интернет-сайте «Medugoje.org» (одном из многих) с текстами посланий можно ознакомиться на 33 языках, включая армянский, литовский, тайский и норвежский. Есть еще радио «Меджугорье», информационное агентство «Робофакс» и журнал «Голос мира». Такова эффективная система распространения посланий Девы Марии по свету.

Всесторонний анализ этих посланий проводят специалисты. Самый известный из них — профессор теологии и переводчик Святого писания на хорватский язык Людевик Рупчич. Он систематизировал проповеди Богоматери и вывел философские формулы. Рупчич утверждает: «Послания Пресвятой Девы словно мозаика. Чтобы постичь их тайный смысл, нужно обладать способностью к комплексному восприятию». Выводы теолога таковы: Богоматерь учит быть

христианами и предостерегает от соблазнов Сатаны. Ключевыми понятиями ее философии являются мир, вера, молитва, пост, покаяние и любовь. «Любовь есть всего лишь самая сильная и чистая форма молитвы, способ соединения с Богом. Любовь не требует слов, ни вопросов, ни ответов, потому что Бога можно понять только в молчании». Ну кто с этим возьмется спорить?

В молчании поднимаются на Подбрдо тысячи паломников. В молчании преклоняют колени, глядя на закат, в молчании зажигают свечи. И если смотреть на эту феерию издалека, то кажется, что на склоне разостлан дрожащий огненный ковер. Люди приходят сюда потому, что в повседневной жизни им не хватает любви. Многие на воздвигнутых на пути к Деве крестах оставляют записки и маленькие подарки для Богородицы, вроде букетиков сухих цветов. Человек приближается к небу, чтобы попросить о земном: «Подари здоровье моему ребенку», «Благодарю тебя за разговор», «Спасибо за помощь на экзаменах», «Верни мне сына». Я впервые побывал в Меджугорье в октябре 1993 года, в пору жестоких боев между боснийскими хорватами и мусульманами. Война не лучшее время для туризма, но на автостоянке в центре городка один за другим парковались автобусы из Польши, Бельгии, Франции. Вицка Иванкович тогда утверждала, что чаще всего Дева говорила с ней о милосердии, а в передачах радио «Меджугорье» Богоматерь даже стали называть Королевой Мира. Теперь главная тема проповедей — семейные ценности.

В Меджугорье каждый приходит с надеждой на то, что именно ему посчастливится воочию узреть Деву. Десятки, сотни тысяч возвращаются, так и не увидев Богородицу, но — не утратив надежды. Страждущим Деву хотя бы отчасти заменяет ее мраморный образ —

прекрасная скульптура работы итальянского мастера Дино Феличи на площади у храма Святого Якова. Копии этой скульптуры — размером от спичечного коробка до статуи едва ли не в полный рост — продаются в изобилии в торговых рядах по соседству. Тут же — крестики, молитвенники, сборники посвященных Богородице песнопений, кассеты с записями ее проповедей, четки, свечи всех возможных модификаций, иконы, рисунки и гравюры на библейские темы и прочая религиозная атрибутика. Этот праздник святого Йоргена продолжается в Меджугорье круглый год, дважды в год превращаясь в настоящий фестиваль: 25 июня, в день Первого Явления, и 15 августа, когда хорваты отмечают праздник Пресвятой Девы Марии.

В Меджугорье не заскочишь просто так, между прочим, на полдня. Поездка пусть и в святой, но не ставший от этого географически менее далеким горный край требует известного напряжения и физических, и моральных сил. В городок ведут две дороги, и с любой из них прекрасно виден гигантский, почти девятиметровый крест на холме Крижевац — примерно в километре от Подбрдо. Этот крест, в основание которого вмурованы специально доставленные из Ватикана религиозные святыни, воздвигнут верующими по случаю 1900-летия Вознесения Христа, в 1934 году. Крижевац как Голгофа, он тоже манит паломников, потому что многим видятся на вершине холма, на высоте более 500 метров, таинственные огни и божественное свечение. Как считают в городе, через Крижевац пролегает путь к душевному спокойствию — Крестный путь.

А путь страданий куда тернистее и круче, чем подъем на ту вершину, где шестеро ребят в один прекрасный день узрели Пресвятую Деву Марию.

Жертвоприношение

Одним из впечатляющих проектов режима Слободана Милошевича в конце 80-х годов должно было стать возведение в Белграде гигантского храма Святого Савы, самого большого православного собора в мире. Прекрасное место для постройки храма выбрали еще до Второй мировой войны: так называемое Врачарское плато, холм, видный едва ли не со всех концов югославской столицы, где когда-то турки сожгли останки главного сербского православного святого — Савы. Но по разным причинам строительство неоднократно откладывалось, и золотой шлемовидный купол вознесся над огромным собором только в начале девяностых годов. Подвиг Юрия Лужкова духовным и светским белградским властям повторить не удалось: снова не хватило средств, и ударная стройка заглохла. Ни в 95-м году, как рассчитывали авторы проекта, ни пятью, ни семью годами позже объект так и не сдали, хотя торжественные литургии в нештукатуренном и окруженном лесами храме все же служили. Недостроенный, серый, обнесенный глухим высоким забором, собор Святого Савы выглядел мрачно и благостных мыслей не навевал. В эпоху Милошевича как раз этот храм казался мне символом неосуществленных сербских национальных проектов, а после Милошевича — знаком того, что стране еще долго предстоит выбираться из кризиса.

Милошевич никогда не скрывал атеистических убеждений, а к концу своего правления и вовсе напроць испортил отношения с патриархом Павлом. Тем не менее сербский национализм, идеология режима, без православных мотивов утратил бы едва ли не всю свою взрывную силу. Пропаганда успешно эксплуатировала целую концепцию околорелигиозных понятий, которую социолог Иван Чолович в книге

«Политика символов» назвал «пантеоном этнополитических мифов».

Сохранение любой ценой самобытности сербской нации, ее «духовной вертикали» — это дарованная свыше потребность, перст судьбы, «сербский крест». Небо предписало сербам жертвовать собой во имя ценностей, которые им переданы на хранение провидением. А ценности таковы: «родное» («сербское») имя, «честный крест» и национальная свобода. Отсюда и военный клич «Бог хранит сербов!», отсюда и попы с автоматами в руках в армейских колоннах. Особую известность в начале девяностых годов на фронте приобрел отец (позже епископ) Филарет, который любил фотографироваться с пулеметом, демонстрируя поддержку «праведной борьбы за древние очаги предков». Решимость отстоять святыни в неравном столкновении с сильным и коварным противником сербы подтвердили шестьсот лет назад во время битвы на Косовом поле. Наследие этого сражения называется «косовским заветом».

15 июня 1389 года, в день святого Вида, сербское войско князя Лазаря вступило в жестокую схватку с армией османского султана Мурада на Косовом поле — поле Черных дроздов. Жертвой кровавого сражения стал сам султан, заколотый сербским героем Милошем Обиличем. Эту потерю восполнил сын Мурада, который собрал подавшащиеся было панике войска и опрокинул славянскую армию. Лазарь погиб — и навеки стал мучеником, его младшая дочь оказалась в гареме султана. Историки до сих пор колеблются, определяя, кто стал победителем Косовской битвы, но все же делают вывод: именно здесь сломлено сопротивление народов Юго-Восточной Европы турецкой экспансии. А в народной памяти битва на Косовом поле осталась как национальная катастрофа, причинами которой в немалой степени явились разобщенность и раздор в рядах сербов. В летописи патриарха Данилы III «Историческое слово», которая, по мнению

литературоведов, положила начало поэтической косовской традиции, битва на Косовом поле названа «сербским несчастьем» и «плодом предательства». Предателем считается один из полководцев — Вук Бранкович, роль которого в битве историки, кстати, тоже однозначно пока не определили. Но народ свои выводы сделал.

Войско князя Лазаря — это сербский Игорев полк. Вдова Лазаря, княжна Милица, после смерти мужа оставшаяся с малолетними сыновьями на руках, — это сербская Ярославна. Стяги Лазаревы, как и стяги Игоревы, пали. Но если в русской истории за Игорем последовал Дмитрий Донской, то князь Лазарь так и остался трагическим одиночкой.

Сербская борьба с силами зла продолжается, ведь жертвы не отмщены и кровь не искуплена. В этой борьбе сербам не пристало бояться смерти, потому что без смерти нет национального воскрешения. «Сербия — это кость в горле сатанинского интернационала, который тянет человечество к новому Всемирному порядку и стремится уничтожить сербов только потому, что они — гордый народ, стремящийся сохранить свое государство на здоровых началах, — продолжает следить за развитием мифа профессор Чолович. — Отсюда и цель: сохранить общую для всех страну на святой сербской земле, иметь одного вождя, исповедовать одну сербскую веру, говорить на одном сербском языке, писать одним “исконным” сербским письмом, думать одну сербскую мысль».

Эти построения ученого-социолога я, быть может, и воспринял бы как чисто умозрительную концепцию, если бы многократно не получал свидетельства ее действительного существования. «Сербы — люди, избранные от Бога, и они будут страдать до Страшного суда, — поясняла мне, например, настоятельница древнего православного монастыря в косовском местечке Грачаница мать Теодора. — Сербы — самый миролюбивый народ, поэтому

они и страдают: их не терпит дьявол, они — мученики Божьи. Все, что в жизни происходит, серб должен вытерпеть, зная: гонения будут продолжены. Ибо сказано в Писании: страшное время грядет! Наступают дни антихриста! Скоро огненная река затопит землю, зазвучат небесные трубы, мертвые восстанут... А любви не хватает...»

В маленьком темном храме Грачаницы в воскресное утро я отстоял службу. На древней фреске прямо над моей головой Христос через ангела пересылал корону царю Милутину и супруге его Симониде, основавшим монастырь в начале XIV века, за 70 лет до Косовской битвы. Справа возносил вострый меч святой ратник Меркурий. Школа сербской иконописи аскетична и строга: у святых — суровые страдающие глаза и жертвенные лики мучеников. Единственное известное мне исключение — фреска «Белый ангел» из монастыря Милешева. Но этот ангел в белой плащанице, расправляющий крылья, не благословляет, а указывает куда-то влево, да еще при этом не стоит, а сидит, свесив ноги с Гроба Господнего. Удивительно чистая, легкая, пронизанная светом фигура.

«Белый ангел», кстати, тоже сгодился пропаганде. На плакате, отпечатанном в период международной блокады Югославии, этот ангел изображен плачущим кровавыми слезами за решеткой тюремной камеры, ключи от которой сжимает костлявая рука с перстнем цветов американского флага. В одной книжке я прочитал, что «Белый ангел» символизирует «несгибаемый дух Югославии».

Жертвенность во имя своего народа и величия Отечества — ключевой элемент в сербском толковании православия. Погибший за духовное возрождение сербов герой — главный персонаж исторического мифа. Поэтому, в частности, Милошевич и продержался у власти так долго: эта концепция любое поражение позволяет превратить в победу духа. Религиоз-

но-исторический пример поучителен. Выбор князя Лазаря в пользу царства небесного — это выбор вынужденный, хотя и благородный («Лучше погибнуть в битве, чем жить во стыде»), но только на время отложивший достижение главной национальной цели, царства земного.

Неслучайно самой знаменитой сербской картиной считается полотно Уроша Предича «Девушка с Косова поля», написанное в 1919 году, в то время, когда мечты нации о «царстве земном» наконец стали реальностью. Прекрасная юная дева на поле брани утешает раненого сербского витязя, утоляющего жажду глотком вина из золотого кувшина. После подписания Дейтонского мира в 1995 году сараевский журнал «Свѣт» опубликовал забавную карикатуру: в роли раненого воина со знаменитого полотна предстал вождь боснийских сербов Радован Караджич, а в одеждах косовской девушки — вице-президент Республики Сербской Бильяна Плавшич. В конце июня 2001 года, когда сторонники Слободана Милошевича пытались организовать в Белграде кампанию протеста против выдачи бывшего президента Югославии Международному Гаагскому трибуналу по наказанию военных преступлений, один из лидеров Социалистической партии выступил на митинге с таким заявлением: «Сегодня самый трагический день для сербского народа со времен битвы на Косовом поле».

Публицист Драган Михович в книге «Войну начали мертвые» цитирует боснийско-сербского политика Божидара Вучуревича: «Чтобы сохранить и защитить достоинство живых, мы устроили военное построение для мертвых. Поэтому для сербов история не только учитель жизни, но и учитель смерти. Святой Сава, царь Лазарь, Карагеоргий... и сейчас с нами и напоминают нам о том, кто мы и с кем мы». Идея ответственности перед предками использовалась не только в качестве теоретического лозунга, но и как приклад-

ное орудие в сиюминутной политической борьбе. Тот же Вучуревич предупреждал корреспондента газеты «Явность»: «Каждый, кто на предстоящих выборах будет голосовать не за нашу, а за другие партии, несет не только ответственность за будущее сербского народа, но и ответственность перед павшими героями». Уж не об этих ли мертвых, готовых восстать из могил, говорила мне мать Теодора?

В девяностые годы популярным песенным жанром в Сербии стали фольклорные баллады, смешение древнего патриотического хорала и аранжированного религиозного гимна. В 93-м году в Белграде даже возникла частная радиостанция «Достоинство», транслировавшая в эфир исключительно такие песнопения. Одним из пропагандистов жанра слыл композитор Лука Манасиевич. Я купил сборник его песен под названием «Восстань, Сербия!». Женский хор поет а капелла:

Восстань, Сербия! Восстань, царица!
 Позволь чадам твоим узреть твое лицо!
 Восстань, Сербия!
 Ты слишком долго спишь,
 Застыв во мраке,
 Но теперь — просыпайся!

Смена власти в Белграде осенью 2000-го изменила в стране многое, но не сказалась на восприятии сербами истории. Религиозная мифология сохранилась — она просто временно вышла из моды, в ней перестали звучать откровенно истеричные ноты. А новый президент Югославии Воислав Коштуница свою политику в еще большей степени, чем его несчастливый предшественник, связал с православием, трактуя сербскую историю как непрерывное возвышающее жертвоприношение.

Накануне приведших его к власти выборов Коштуница пообещал в случае успеха поклониться сербс-

ким иконам в монастыре Хиландар на горе Афон в Греции — что вскоре с большой помпой и сделал. Потом президент отправился в боснийский город Требинье, на церемонию перезахоронения останков сербского поэта-изгнанника Ивана Дудича, еще одного канонизированного если не церковью, то пропагандой героя-мученика. В Белграде разгорелась дискуссия о включении в образовательную программу Закона Божьего: с сентября 2001 года школьники получили возможность изучать теорию и практику православия. Не отставала и армия: в югославских вооруженных силах приступили к выполнению штатных обязанностей православные священники. В политическом управлении Генерального штаба разработали специальное руководство о «морали православного воина» все с тем же напоминанием: армия защищает родину прежде всего как ценность духовную.

Сербская «духовная вертикаль» устояла.

Il nome della rosa (подражание Умберто Эко)

Любой монастырь живет памятью Средневековья. Я стукнул в забранное деревянной рамой окошко с надписью «Вратар», и круглолицый монашек укоризненно — не попусту ль беспокоишь? — глянул из отворившегося светлого квадрата. Сторож с футбольной профессией оказался строг, надолго оставив меня томиться в коридоре, освещенном тусклым фонарем. Медленно текли минуты, за слепыми окнами брезжил зимний рассвет, и матовые стекла едва пропускали внутрь отблески занимающегося дня. Мерно пробили часы.

Францисканцы назначили мне встречу на восемь.

Жизнь обычных людей не озарена познаниями. У них нет той внимательности к точнейшим дефинициям, которая так помогает ученым, их существование беззащитно перед немощами, болезнями, косноязычно от темноты. Мир слишком часто бывает сложнее человеческих понятий о мире. А потому по пути к Богу людей ведут, взяв за руку, пастыри, точно знающие, чем отличается жар очистительный от жара греховного. Вот и святой Франциск из Ассизи, Великий Нищий, примером своей жизни указал верующим этот путь. И учение его распространилось по свету как огонь по соломе. Своим последователям Франциск оставил всего три заповеди: смирение, бедность, очищение — да еще личный опыт, но и этого оказалось достаточно. Во францисканском святом братстве, монашеском ордене деревянных сандалий и пенькового вервья, состоит ныне около 25 тысяч человек.

Франциск так любил распятого Христа, что непорочное чувство свое решил доказать мученичеством. Монах пешком добрался до Святой Земли, где не мечом, но крестом обращал заблудших в истинную веру. Доказывая праведность Святой Церкви, ходил по пламени, по углям раскаленным — и оставался невредимым, поскольку от страданий только креп в убеждениях. В Европу Франциск вернулся через нынешние Хорватию, Словению и Северную Италию. Переночевал и в Загребе, который тогда звался на германский манер Аграбиам, — в доме вдовы Катарины Галович. Через семь лет здесь возник монастырь, вскоре после смерти Франциска в 1226 году названный его именем. А на месте ночлега теперь стоит вмурованная в монастырские стены часовня.

Амен.

Монастырь расположен на холме Каптол, неподалеку от кафедрального собора и всего в паре минут

ходьбы от шумной площади бана Елачича. На Каптоле, который считается духовным центром столицы, все всегда чинно и неспешно, даже автомашины невольно сбавляют тут скорость. Если идти вверх от площади к монастырю, минуешь последовательно объекты культа, готовишь себя к встрече со святостью — Богословский факультет университета, магазин церковной книги, кафе с символическим названием «Капуцин». Даже в здании Театра комедии когда-то, еще до прихода коммунистов к власти, располагалось монастырское общежитие.

Отец Антун, гуардиан (настоятель) монастыря святого Франциска, плотный невысокий мужчина, объяснил мне, что монашество не тяжкий крест, но счастливый подвиг самоотречения. Как и положено францисканцам, патер Антун одет в коричневую рясу и подпоясан крученой веревочкой — вервием. На его плечах и совести лежит забота о 70 священниках, братьях и послушниках. Он поставлен генералом ордена блюсти здесь, в францисканской провинции Кирилла и Мефодия, заветы Святого Нищего. Гуардиан — слуга своих братьев, говорят правила обители, он заменяет им отца и мать, а братия всеми силами, во всем, кроме греха, радостно ему послушна.

«Верую в Христа распятого, неимущего», — возгласил святой Франциск, сам питавшийся от доброты людей, как хиппи, и так же учивший жить других. В этом, в безгрешной нищете, в аскетизме, доходящих до самоотречения, и заключалось издревле отличие францисканского учения от заветов других святых. Франциск основал свой орден для черни, нищих скитальцев, для прокаженных, вышвырнутых из общества, — для тех, кому не находилось места в роскошных дворцах и богатых городах. Но чем более явно таких людей отвергают, тем злее они становятся. Чтобы возвратить несчастных в круг народа Божьего,

Франциск пошел к ним и жил с ними. Признанное церковью, новое учение образовало новый монашеский орден, а новый монашеский орден составил новый замкнутый круг, за границами которого остались новые исключенные.

Говорят, Франциск ясно понимал это и боялся этого. Организационные усилия по созданию ордена поэтому предпринял уже после смерти проповедника: кардинал Гуголин, будущий папа Григорий IX. Однако потом отношения францисканцев и Ватикана испортились, и против Дольчино Торинелли из Наварры, который проповедовал полный отказ от собственности, папа даже собрал крестовый поход. Но, может, религиозное инакомыслие не есть мировоззрение, внушенное дьяволом, а просто иной способ существования? Ведь и неверие в Бога тоже есть вера. А на самом деле — все в равной степени еретики и в равной степени догматики: неважно, какую идею проповедует то или иное учение, важно, какую оно подает надежду.

В XVI веке раскололся и францисканский орден: то, что казалось бедностью одним, другие считали богатством. Строже всего обет нищеты соблюдался в монастырях миноритов, «малых братьев». Конвенциальцы распространили заповедь бедности только на личную собственность, но не разделяли мнение, согласно которому никаких ценностей не должно быть во владении монастыря. Капуцины, монахи, носившие капюшоны (отсюда и пошло название), проповедовали скромный монашеский достаток. Появились у братьев ордена святого Франциска и сестры, последовательницы учения святой Клариссы из Монтефалько. Миряне, имеющие семью и живущие вне стен обители, тоже могут следовать заповедям великого скитальца. Приверженность его идеям до сих пор символизирует вервие, которое следует постоянно носить на поясе.

Пять пальцев на правой руке сжал в кулак патер Антун, толкая учение святого Франциска.

— Смирение перед орденом и покорность воле Божьей — вот что нас сближает, — строго взглянул на меня патер сквозь толстые стекла очков. — Францисканец всегда должен поступать так, как требуют законы братства. А суть их в посвящении всех своих сил и помыслов Богу. Без этого, без любви к Богу и через эту любовь — к каждому человеку, нет монашества.

...И на каждой спине
Виден след колен,
Мы, как хворост, ложимся
Под колеса Любви.

Не о том ли, как ни странно сравнение, пел «Наутилус Помпилиус»? Я не спросил об этом патера Антуна, наверняка он и не слышал о Вячеславе Бутусове. Но, наверное, не случайно орден францисканцев не так давно торжественно отметил 800-летний юбилей еще одного подвижника, который стал для верующих Символом Любви — и тоже в итоге попал под ее колеса. Святой Антонио Падуанский, самый способный ученик Франциска, чудотворец, ненадолго переживший своего учителя и уже через год после смерти канонизированный, — он, чей лик глядит сегодня на прихожан любой католической церкви в Европе, сгорел, как свеча, от неизбывной любви к человечеству и от страданий за чужие грехи.

Сломался, как хворост под колесами.

Так сложилось, что ранней осенью 1994 года я приехал в Хорватию всего на несколько дней раньше Папы Римского, но меня в городе не ждали так, как его. Иоанна Павла II хорваты встречали с таким воодушевлением, будто ожидали, что с его появлением на землю снизойдет Божье благословение. Визит Предстоятеля в Загреб был официально объявлен вторым по значимости событием в национальной истории

после провозглашения независимости, а в газетах Иоанна Павла II называли «перстом провидения» и «мощным потоком благодатного света, пролившимся на Хорватию». И вот — свершилось. Толпы народа вывалили на проспект, по которому катил на Каптол в сопровождении почетного караула короткий бронированный автомобильчик с кубическим стеклянным колпаком над салоном. Это — «папамобиль», мера безопасности на колесах, введенная после покушения на жизнь Кароля Войтылы в начале восьмидесятых годов. Папа слабым мановением руки благословлял восторженных горожан. Девятилетний сын сидел у меня на плечах и восхищался что было сил, хотя о Папе услышал впервые в жизни.

Наутро на городском ипподроме, окруженный распятиями, кардиналами в красных шапочках, священниками в кремовых митрах, гигантскими клумбами желтых и белых, ватиканской раскраски, хризантем, Иоанн Павел II отслужил торжественную мессу в честь 900-летия Загребской епископии. Ему жадно внимали 900 тысяч человек, многие из которых в ожидании провели в чистом поле не одну ночь. Хор пел псалмы. Ветер колыхал флаги. Слева от алтаря, в первом ряду VIP-трибуны, сидел президент республики, и лицо его выражало спокойный восторг.

Иоанн Павел II с миротворческой миссией должен был посетить вначале Белград, потом Сараево и только после — Загреб. Однако Белградская патриархия заявила, что ждет в гости Папу только в том случае, если он публично осудит хорватов за геноцид сербского народа в годы Второй мировой войны. А в Сараево побывал только «папамобиль» — визит отменили за двое суток до его начала, по соображениям безопасности. В Боснию Иоанн Павел II потом все-таки приехал — после окончания войны, однако и тогда планировалось покушение на его жизнь: на пути папского кортежа за несколько часов до начала молебна обезвредили взрывное устройство.

...В тот день на загребском ипподроме в душах сотен тысяч людей патриотизм встретился с верой. Папа Римский взирал на ликующее людское море с некоторой отстранен-

ностью. А я не спускал глаз с его лица. Папа казался старцем, до предела уставшим от забот и власти, от страдания за чужие грехи, уже переступившим тот порог жизненной мудрости, за которым открываются горизонты другого мира, и именно поэтому стоящим ближе к Богу, чем обычные люди. В другой стране другой религиозный иерарх, сначала реформировавший церковь, а потом сброшенный за гордыню с небес, патриарх Никон, сказал три века назад: «Священство выше царства, потому что священство от Бога. Господь, когда сотворил землю, повелел солнцу и месяцу светить ей и через них показал нам: солнцем — власть архиерейскую, месяцем — царскую».

Луна, как известно, всего лишь отражает чужое сияние.

Свидетельством особой любви, которую хорваты питают к Папе Римскому, стала инициатива жителей крошечного города Сельца на адриатическом острове Брач. В 1995 году в Сельце прошел конкурс на лучший проект памятника Иоанну Павлу II. На суд общественности свои работы представили 42 скульптора, одному из которых, Кузме Ковачичу, и было доверено возведение монумента. Ковачич решил увековечить в камне «Святого Отца — путника, поэта, ключевую историческую фигуру нашей эпохи. Это Папа, который любит всех и которого может полюбить каждый» (цитата из заключения государственной комиссии). После открытия монумента Папе Римскому, Сельца, в которой проживают чуть больше тысячи человек, вероятно, установила мировой рекорд по количеству памятников на душу населения. В городке установлены памятники: Льву Толстому (первый в мире — 1911 год); одному из отцов хорватской государственности Стjepану Радичу и бывшему немецкому министру иностранных дел Гансу-Дитриху Геншеру — в знак благодарности за поддержку Германией идеи хорватской независимости...

Ясны небеса, а на земле мрачно. Монастырь просыпается рано. Поднявшись, братья спешат в ораторий, на первую совместную молитву. Вместе они об-

ращаются к Богу по пять раз ежедневно, а медитирует каждый наедине с совестью — перед завтраком, с семи до половины восьмого. Патер Антун, сноровисто преклонив перед входом колени и осенив грудь знаменем, позволил и мне пройти в ораторий, гулкий и пустой в этот утренний час. Рядом трапезная — длинный сводчатый зал, со стенами в теплых тонах мореного дуба, с которых глядят лики святых и блаженных. Сам святой Франциск, святой Бернардин Сиенский, святой Иван Капристан и святая Моника строго следят за процессом приема пищи. Не знаю, потчуют ли тут братьев хлебами святой Клары, пирогами святого Бернарда, пончиками святой Люции, как это водилось в Средневековье. Одно патер Антун сказал мне точно: обет молчания во время еды давно уже отменен, так что нынешним францисканцам нет необходимости постигать древнюю азбуку разговора на пальцах.

В восемь утра начинаются занятия, и всяк учится своему. Монастырь, утратив многие прежде своиственные ему функции, остался первоклассной школой религиозного образования, своего рода Божьим Суворовским училищем. Обычно сюда попадают 15—16-летние мальчики, которые посещают классы католической гимназии — после получения «неполного среднего» в светской школе. Углубленному изучению истории ордена и опыта святого Франциска особое внимание уделяется в новициате — после чего прошедшие испытание юноши вступают в орден и получают монашеские одеяния. Тут дорога к знанию раздваивается: вчерашние послушники вольны, коли есть способности и желание, изучив теологию в университете, получить затем сан священника, но могут и просто оставаться при монастыре или отправиться во францисканскую миссию куда-нибудь в Африку. Ну а коль ты в зрелом возрасте принял решение о

служении идеям Франциска — тебя примет двухлетняя постолатура.

Францисканцем стать трудно, но еще сложнее из монастыря выйти. Прежде нужно дождаться специального разрешения, диспензы, от генерала ордена (для монаха) или от Папы (для священника). Впрочем, как уверил меня патер Антун, такое случается нечасто: в двери обители стучатся люди, бесповоротно решившие посвятить себя служению Богу.

В очищении страшнее всего поспешность. Время в монастыре течет неслышно, как в песочных часах. У правосудия Божьего в распоряжении много столетий. Но только на первый взгляд стены обители способны надежно укрыть братьев от превратностей судьбы. Патер Антун показал мне во внутреннем дворе монастыря статую Девы Марии Безгрешной на семиметровой колонне. В феврале 1944 года статуя устояла после попадания авиационной бомбы. «Разве это, — спросил меня патер, — не является достаточным стимулом для благочестия?» Да, статуя устояла, только постамент чуть накренился и сдвинулся в сторону на несколько сантиметров. Жертвами той же бомбежки, кстати, стали девять монахов-доминиканцев, напрасно хоронившиеся от смерти в убежище.

Теперь по этому дворику прогуливаются вокруг Безгрешной послушники, братья и священники, осмысливая прочитанное в святых книгах. Ведь и святые книги пишутся не для того только, чтобы в них верили, но и для того, чтобы их обдумывали. В монастырской библиотеке — 25 тысяч томов. Однако и эти откровения доступны не всем, потому что знание не монета, которой не повредят любые хождения; оно, скорее, напоминает платье, которое треплется от лишнего показа. Монастырь хранит сокровища истины, древнюю теологическую литературу, инкунабулы, в частности труды францисканских ученых — Роджера Бэкона, которого Святой Нищий вдохновил на

изобретение телескопа, пороха, очков; философа Вильгельма Оккамского, реформатора церкви Михаила Цезенского. Нынешние францисканцы столь же кропотливо, как их предшественники, трудятся над распространением католического знания. Патеру Антуну есть чем гордиться: именно францисканцы основали главную хорватскую церковную газету, подготовили новый перевод Библии и издание детского Евангелия.

...В монастырский храм мы попали около десяти, когда солнечные лучи уже проникали вовнутрь сквозь витражи хоров и через окна фасада. Бурные потоки света перекрещивались по всему пространству церкви, целиком заливая алтарь. Доступ для прихожан еще не был открыт, молчал (так же величаво, как если бы звучал) орган, купленный до войны у городского мюзик-холла. Вот уж которое десятилетие монастырский маэстро извлекает из двенадцати регистров совсем иные мелодии. Здесь начинается и здесь же оканчивается Путь к Богу — правда, каждый проникает и оставляет храм через свою дверь. Мы вышли через какую-то потайную, врезанную в торцевую стену.

В XII веке бенедиктинец Бернард Морнарский написал поэму «О презрении к миру», в которой отстаивал теорию бренности сущего: все когда-нибудь превратится в ничто, а от исчезнувших вещей останутся пустые имена. Через восемьсот лет итальянский философ и писатель Умберто Эко вернул своих читателей в Средневековье, избрав символом тайны времени хрупкий колючий цветок. Интеллектуальная головоломка Эко в моем воображении дополнялась тягучей музыкой группы «Энигма» и прекрасным фильмом Жана-Жака Анно, в котором роль Уильяма Баскервильского сыграл Шон Коннери, а роль преподобного злодея Хорхе из Бургоса — Федор Шаляпин-младший. Честно говоря, во многом поэтому я и

отправился в гости к патеру Антуну: посещение монастыря, казалось, поможет мне проникнуть за слегка приоткрытую Умберто Эко дверь в странный и притягательный мир.

Но я ошибся.

Ведь и герои «Имени розы», плутая по лабиринтам католического знания, так и не добрались до выхода. Жизнь предложила им парадоксы, которые вряд ли могут быть объяснены и Святым писанием: грешат, оказывается, не только от недостатка, но и от избытка любви к Богу. Антихрист способен родиться из благочестия, а еретик — из святости. И если бы Господь хотел, то одним лишь напряжением своего хотения мог бы переменить мир к лучшему, вот только почему он этого до сих пор не сделал? Святая церковь перенесла в настоящее из прошлого монастыри, наверное, еще и потому, что Средневековье — это детство цивилизации, к опыту которого следует периодически возвращаться. Впрочем, и сейчас еще, говорят, в Англии жив некий аббат Гриво, который сочиняет руководства по обращению с дьяволом в тетрадах, пропитанных серой.

Патер Антун затворил за моей спиной тяжелые, тоскливо скрипнувшие монастырские двери. Кто без коня, иди пеш.

«Дикие гуси»

**END OF THE WAR
END OF THE
END OF
END** 

Миф о товарищах по оружию

В балканском небе было столько опасных востров, что из игры, которую они затевали в небесах и днем, и ночью, очень трудно было выбраться невредимым.

Милорад Павич, «Атлас ветров»

«Русские волки»

Тридцатидвухлетний Андрей Мартынов перешел линию сербско-мусульманского фронта неподалеку от Сараева в последних числах марта 1994 года. Без документов (паспорт отдал в залог за оружие), с пятью немецкими марками в кармане, он сдался французским «голубым каскам» и попытался тут же завербоваться в Иностраннный легион. Ему, естественно, отказали; вместо казармы Мартынов оказался вначале в российском посольстве в Загребе, а затем на борту самолета, переправившего его в Москву.

Бывший рабочий подмосковного оборонного завода, бригадир бригады коммунистического труда, Андрей Мартынов после начала экономических реформ потерял работу. Занятия частным бизнесом окончились встречей с рэкетом. Новую попытку найти себя Мартынов предпринял на Балканах. Но и здесь бывший ударник ничего хорошего не обнаружил — ладно хоть домой вернулся живым.

Его «товарищу по оружию» Игорю Гуськову, служившему в армии непризнанной Республики Сербская Краина (РСК), повезло меньше — он попал в плен к хорватам и получил десять лет тюрьмы «за участие в вооруженном мятеже». Гуськов, русский из Таджикистана, отправился в Сербию якобы для того, чтобы работать на стройке, но то, чем пришлось ему заниматься, сильно отличалось от кладки стен. В отличие от гражданина России Мартынова вытаскивать

«таджика» Гуськова из Хорватии оказалось некому — место его рождения и прописка никакого значения не имели. Для сербов, хорватов и мусульман он все равно — «русский волк».

Точное количество русских добровольцев и наемников, в первой половине 90-х годов воевавших на стороне сербов в Хорватии (в так называемой Республике Сербская Краина) и в Боснии и Герцеговине, установить вряд ли удастся. Вероятно, общее их число за пятилетие войн составило от двух до трех тысяч человек. Были среди них и женщины — летом 1993 года в отряде русских добровольцев под Сараевом, например, воевали две девушки-снайперы. Сами сербы, для которых симпатии «русских братьев» всегда были беспроегрешной пропагандистской картой, называли какие-то совершенно невероятные цифры. Боснийские мусульмане давали другие, но, по-видимому, столь же преувеличенные сведения.

Летом 1993 года в Сараеве от генералов армии Боснии и Герцеговины мне доводилось слышать рассказы о сводных русско-румынских ротах, о штурмовых отрядах под командованием русских «коммандо». Заместитель начальника генерального штаба боснийской армии Йован Дивьяк (один из немногих сербских офицеров, воевавших на стороне мусульман) утверждал, что русские инструкторы обучают обращению с оружием необстрелянную сербскую молодежь, учат в том числе совершать диверсионные операции в тылу противника, что многие бывшие служащие Советской Армии получили звания офицеров югославской армии, что общее количество наемников из православных стран на сербской стороне составляет не менее пяти тысяч человек. Данные эти опровергнуть или подтвердить было невозможно.

«...Я не мастак на слова, мое слово — автомат, я хочу, чтобы ваша помощь помогла мне отдать свой долг братьям-славянам. У меня есть желание, но нет воз-

возможности. Дайте нам ("Нам!") ее. Скажу о себе: 34 года, владею приемами джиу-джитсу, стреляю — пистолет (9 из 10) и автомат (4 из 10), владею вождением а/м и приемами кинжального боя, помимо меня могу (есть!) найти еще 20—25 специалистов (вплоть до офицеров СА). Ребята отборные. Мы действительно хотим и можем воевать.»

Такое письмо прислал в вербовочный пункт один из потенциальных добровольцев. Даже если в начале девяностых он по каким-то причинам не попал в Хорватию или Боснию, то несколькими годами позже наверняка оказался если не контрактником в Чечне, так в Косове, если не в Косове — так снова в Чечне, уже в месяцы второй кавказской войны. Письма к казакам, в штаб-квартиры партий патриотической ориентации, в редакции националистических и других газет, которые хоть что-то писали о «русских волках» в бывшей Югославии, приходили из самых разных районов России и всего бывшего Советского Союза. На конвертах — штемпели из Москвы, Ставропольского края, Мурманской области, Магадана и Хабаровска, Владивостока, Белоруссии, Украины, Таджикистана.

Ехали на Балканы разные люди, и ехали за разным: казаки, бывшие «афганцы» и «чеченцы», национал-патриоты, профессиональные «дикие гуси» и случайный люд, не нашедший себе в жизни лучшего применения. В июне 1994 года атаман Кубанской казачьей станицы Громов направил телеграмму Слободану Милошевичу и патриарху Павле, в которой, в частности, говорилось: «Кубанское казачество с болью в сердце воспринимает события, происходящие в Сербии. Мы готовы совместно с сербским народом встать на защиту интересов славянства и православия».

Эти телеграммы стали продолжением связей российских казаков и сербов, причем связей не только

военных. В январе 1994 года министр иностранных дел самопровозглашенной РСК Слободан Ярчевич даже подписал с руководством одной из крупных казачьих организаций России договор о сотрудничестве в области культуры и науки. Иногда такое сотрудничество принимало карикатурные формы: казаки, например, добивались от петербургской мэрии согласия на участие краинских сербов в Играх доброй воли. Поговаривали о том, что в сербских районах Боснии и Хорватии появятся русские казачьи станицы. Процесс развивался и в обратном направлении: весной 1994 года в Новочеркасском войсковом храме поверстан в казаки сербский полковник Драган Раденович.

Российские власти никогда такого рода проекты сотрудничества не поддерживали, более того — в МИД хотя и проводили экспертные встречи с лидерами РСК и боснийской Республики Сербской, но принимали сербов неласково. Того же Ярчевича, отличавшегося крайней неуступчивостью, тогдашний заместитель министра иностранных дел Виталий Чуркин как-то в лицо назвал «камнем на шее сербского народа», а другой российский дипломат политическое мировоззрение краинских сербов охарактеризовал как «глухую провинциальную ментальность». Однако отправлявшимся на Балканы в качестве «туристов» или «строителей» добровольцам правительство России не препятствовало — да и не могло препятствовать.

Расцвета русское добровольческое движение достигло зимой и весной 1993 года, когда из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, с Урала регулярно отправлялись на Балканы, в основном поездами через Будапешт или Тимишоару, отряды боевиков. Сербам и в Хорватии, и в Боснии хватало солдат и офицеров, потребность возникала разве

что в специалистах (подрывниках, инженерах, связистах), но иностранцам ведь нужно было платить куда больше, чем своим. В первые месяцы добровольческой кампании некоторые русские получали от сербов, помимо оплаты проезда, кормежки и табака, по 150—200 немецких марок в месяц. Позже, когда ситуация и в «малой» Югославии, и на фронтах в Боснии и Хорватии для сербов стала ухудшаться, об этих выплатах перестали даже говорить.

Кто финансировал добровольческое движение? В российских промышленных кругах встречались панславистски настроенные бизнесмены, жертвовавшие деньги на защиту сербской идеи. Но большая часть средств — сербского происхождения. Югославское посольство в Москве и власти в Белграде официально, естественно, вербовкой рекрутов в бывшем СССР не занимались. Миф о православном братстве превращали в реальность сербские фирмы (или фирмы с сербским участием), предприятия, банки, представительства которых не прекращали деятельности в России даже в самые тяжелые для Югославии времена международной экономической блокады.

Русские добровольцы воевали, как правило, в составе небольших, по 10—25 бойцов, отрядов, организованных по национальному принципу. Боснийская война оказалась преимущественно партизанской, так что устраивали засады, рейды по тылам противника, ходили в «напады», брали деревни и высоты. Одним из первых и, наверное, самым известным русским добровольческим отрядом, действовавшим в Боснии, стал отряд «Царские волки», в который, как заявлялось, входили исключительно монархисты. Вербовкой добровольцев занимался в Москве и Санкт-Петербурге студент Ярослав Ястребов, руководитель некоего Союза защиты православных сербов и черногорцев. «Царские волки» появились в Боснии в конце

1992 года и воевали сначала под Требинье, потом в районе Вышеграда и в предместьях Сараева. Освоившись с ситуацией, «волки» отправили обращение в российский парламент: «Мы заявляем, что не выпустим оружия из рук и будем сражаться здесь, в Боснии, до последнего патрона против всех, кто идет против православия, против Святой Руси, против Сербии». По рассказам очевидцев, каждый третий боец отряда имел опыт боевых действий в Афганистане или Приднестровье, каждый пятый был кадровым военным. За первые полгода боев один «волк» убит, трое ранены. Состав отряда неоднократно менялся, воевали вахтовым методом; некоторые добровольцы побывали на Балканах по два-три раза.

Андрей Мартынов числился в другом отряде — Вышеградском, о котором из-за низкого уровня дисциплины ходила дурная слава. Бойцы «баловали», курили «травку», пьянствовали, приставали к местным женщинам. Однажды они настолько развинулись, что затеяли перестрелку между собой. По свидетельству Мартынова, со временем забота сербского командования о «русских братьях» ослабла, кормили и снабжали бойцов все хуже и хуже. Вышеградский отряд, вероятнее всего, не составлял исключения из правил, хотя многие ветераны боснийских и хорватских событий настаивают на том, что дисциплина в русских боевых рядах была крепка: сухой закон, никаких женщин, беспрекословное подчинение приказам. Тем не менее сербы часто жаловались на своих «православных братьев», не желавших подчиняться командам, промышлявших грабежами и мародерством и злоупотреблявших спиртным.

Но большинство русских все-таки поехали на Балканы не за деньгами и войну воспринимали не как сафари. Война была настоящей, на этой войне убивали — по некоторым сведениям, в Россию не верну-

лись не меньше трех сотен человек. Только в одном бою под Вышеградом погибли 25 русских добровольцев. Впрочем, сами «волки» утверждали, что смерть товарищей дорого обошлась «муслимам» — за одного убитого добровольца якобы уничтожали не меньше 20 мусульман.

Один из людей, одержимых идеей величия России, — москвич Константин Ершков, есаул Союза казаков России. В Боснию он отправился, вернувшись из Приднестровья, в феврале 1993 года. Воевал в казачьем отряде в составе Горажданской бригады, участвовал во взятии Столаца и Заглавка. Ершков утверждал: когда мусульмане узнавали о том, что на штурм их позиций идут казаки, отходили без боя. С Ершковым я познакомился весной 94-го года, на организованной Русско-сербским братством (было в Москве и такое) презентации книги о российской политике в Югославии. В пресс-центре МИД собралась обычная для таких событий околоюгославская публика. Наверное, впервые после распада «большой» Югославии в одном и том же зале оказались дипломатические представители республик бывшей федерации. В начале вечера есаул Ершков — в парадной казачьей форме, в фуражке с высокой тульей и крестами на груди — поднялся на сцену и от имени своего Союза предложил присутствующим «вставанием почтить память русских героев, погибших за идеалы славянства и православия на земле Югославии». Возникла неловкая пауза, но почти все в зале поднялись со своих кресел — только сараевский дипломат, сидевший в одном из первых рядов, демонстративно не шевельнулся. После окончания официальной части я подошел к Ершкову, представился, сказал, что интересуюсь русским добровольческим движением. Есаул оказался крайне недоверчивым и напрочь лишенным чувства юмора человеком: уловив в одной из моих фраз насмешку над идеалами славянства, он момен-

тально завелся. Через несколько дней Ершков все же позволил опубликовать в еженедельнике «Россия» отрывки из своего полевого боснийского дневника. Вот они.

Начало марта 93-го года.

Мы на месте. В горах. Снег. Высоченные ели. Красота и какой-то лесной уют.

Март. Прошло десять дней.

Высоты наши. Обустроиваемся. За это время — горы, снег, лес и движение в самых произвольных и непредсказуемых направлениях.

Оперативная обстановка менялась быстро: мы то окружали мусульман, то они нас. Характер боевых действий здесь, в Боснии, партизанский. Линии фронта нет. Все перемешано, как в слоеном пироге. Противника можно обнаружить с фланга, в тылу. Идем, высылая разведку далеко вперед и по флангам, «усами».

Мы жарили ребра серны, когда в очередной раз нас окружили мусульмане. Нас обстреляли. Первая очередь была длинной, потом две короткие. Не было видно противника — огнем отвечали в направлении от предполагаемого движения. Шальных пуль здесь много, и когда бой идет между другими группами и в отдалении, где-то на других склонах, то пули достигают и тех мест, где бой не ведется. Воюешь, как на пандусе, спасают деревья да Господь Бог.

Первый наш раненый — Олег-казак. Сквозное пулевое в ногу. Вторая пуля попала в автоматный магазин (рожок), и это спасло ему жизнь. Раненый, он всю ночь пролежал в блиндаже, вывезли только утром. Ребята дерутся спокойно и храбро — так, будто всю жизнь только и делали, что воевали.

Март, двадцатые числа.

Мусульмане попытались отбить Заглавак. Пошли в атаку, подбадривая себя криками. Сербь запели боевые песни — суровые и спокойно-беспощадные. Русские заговорили матом.

Все чувствовали себя весело. Сербы кричали муслимам: «С нами русы!».

Атака была отбита. Потери муслимов — пять человек. В этом бою и был ранен Олег. Второй наш раненый — сотник, уральский казак Виктор Девятов, ранен в обе ноги и сам, на простреленных ногах, дошел до своих.

29 марта 93-го года.

Муслимы получили тяжелое вооружение.

Под видом «гуманитарной помощи» им доставляют оружие, боеприпасы, амуницию. По Заглаваку била муслимская артиллерия, не прекращают огонь минометы.

По дороге Джанкичи — Горажде — мусульманские танки. Готовится наступление на Вышеград через Заглавак и Столац. Предположительно наступление начнется на православную Пасху.

Апрель 93-го года.

Еще один муслимский «напад» на Заглавак и Столац.

На Столаце погибли наши ребята Попов и Сафонов. Это было 13 апреля, в тот же день погиб Костя Богословский — 21 год, умный, отзывчивый парень. Его тело из Заглавака мы вынесли на одеялах. Тела Попова и Сафонова на Столаце захвачены муслимами.

Пашка-пулеметчик ранен. Володька контужен, ничего не соображает, контужен и седой егерь: по укрытию, откуда он вел огонь, муслимы били из безоткатного орудия.

Сашка, что воевал в черном берете, ранен в голову, его повели, он ничего не видит.

Шли на грузовике на ободах — в проходе, на носилках, под одеялами лежал Костя Богословский...

Мы в казарме — будто и не было того боя.

15 апреля 93-го года.

14 апреля хоронили Костю Богословского. Отпели в церкви Вышеграда. Опустили в могилу. Крест. Потери муслимов, по

сообщению Сараевского радио, составили девяносто шесть убитыми и около двухсот ранеными. Казаки погибли не зря.

Апрель—май 93-го года.

Шли бои, напады чередовались с одмаром (отдых).

10 мая 93-го года.

В Рогатицу вошли украинские «голубые каски», через Рогатицу эти силы, по сути русские, брошены против сербов.

Сербы в недоумении, которое трудно описать... Кто же отдал такой преступный, предательский приказ? Русские против сербов — это то же, что русские против русских. И нам придется воевать против своих...

Чем думают ельцины, козыревы, чуркины, кравчуки в России и на Украине?

Кто так заботливо сталкивает нас лбами? Кто торгует кровью и плотью русских и украинцев?

Среди наших добровольцев — русские, украинцы, есть и из Руха. И воюют, дай Бог каждому... Сербы очень спокойно, без какой-либо аффектации, говорят нам о том, что ситуация в России и на Балканах, как они выражаются, сличная (похожая). «То, что происходит у нас, здесь, будет и у вас, в России». Да, братья, мы это знаем. И доказательств тому более чем достаточно. Скажи мне кто полтора-два года назад, что придется воевать сначала в Приднестровье, затем в Боснии, не поверил бы...

Совершенно другими мотивами руководствовался, отправляясь в Боснию, петербуржец Валерий П. (фамилия мне неизвестна). Валерий, по собственному его признанию, мало что знал о сербах в частности и о славянах вообще, поехал на войну подзаработать, а вернувшись, не скрывал разочарования. На митинге в Петербурге он слышал от Александра Невзорова (я пересказываю рассказ Валерия), что каждый «доброволец» получает от сербов 250 немецких марок «су-

точных», а привез-то домой всего два комплекта пятистой военной формы да шнурованные высокие ботинки. Но о прошлом он не жалел и собирался еще раз поехать в Боснию — даже зная, что не разбогатеет. «Там я чувствовал себя человеком, — говорил Валерий, с удовольствием вспоминая, как однажды швырнул пустую банку из-под пива во французского пехотинца, проезжавшего мимо на бронетранспортере миротворческих сил ООН. — Там я заходил в любой дом и чувствовал себя хозяином. Там все сербы были мне рады. А здесь...» «Здесь» дела у Валеры явно не складывались: он производил впечатление опустившегося пьяницы.

Валерий отправился в Боснию «по линии» Народно-социальной партии Санкт-Петербурга (НСП). Лидер НСП Юрий Беляев, бывший депутат горсовета, называл себя русским националистом и не скрывал, что действовавшие в Боснии отряды могут пригодиться в России. В 1992—1993 годах он активно занимался вербовкой и отправкой добровольцев в Боснию, дважды побывал на Балканах сам («рискуя жизнью, выполнял миротворческую миссию в Югославии по спасению сербского народа от геноцида, развязанного мусульманскими бандами и их американскими покровителями» — цитата из предвыборной листовки). Беляев принимал участие в нашумевшей в российских национал-патриотических кругах операции по возвращению на сербскую сторону тел двух погибших добровольцев — капитана второго ранга Владимира Сафонова и лейтенанта Дмитрия Попова, захваченных мусульманами, тех самых, о которых писал в своем дневнике казачий есаул. Газета НСП «Националист» (запрещенная петербургскими властями и выходившая позже под другими названиями) сообщила, что после проведения этой операции хорваты и мусульмане объявили Беляева военным

преступником. Несколько номеров «Националиста» весной 1994 года я позаимствовал в петербургской штаб-квартире НСП. На одном газетном развороте публиковались совсем уж аховые воспоминания русского бойца о встрече с генералом Ратко Младичем. На соседней странице помещался патриотический плакат с фотографией самого Юрия Беляева: в развевающейся плащ-палатке и каске образца Второй мировой, с закинутым за плечо автоматом, он, полуобернувшись, уходил к горизонту, а сзади к нему тянула ручонки маленькая девочка. Если в поведении и в словах есаула Ершкова сквозила серьезность и гордость за проделанную военную работу, то парни из НСП выделялись полублатным ухарством. По крайней мере, их трудно было представить в одном с казаками отряде. Беляев, по-моему, в отличие от Ершкова не обладал даже поверхностными знаниями о ситуации в Боснии. Его коллега-казак считал хорватов и боснийских мусульман «неправильными славянами» (но все-таки славянами), а лидер НСП был уверен в том, что бошняки — настоящие «турки» и «духи».

Развязность «патриотов» бросалась в глаза на фоне нарочитой подтянутости казаков, но в целом и те и другие являли собой комические фигуры. Юрий Беляев, например, забавно выглядел рядом со своим товарищем по борьбе в Боснии — министром внешних экономических и культурных связей Союза казачьих войск России (!), атаманом станицы Феодоровская полковником Иваном Черниковым. С Черниковым, прямо-таки источавшим недоверие к журналистам, разговор у меня получился коротким. То есть от разговора, как такового, он отказался, а за визит в тренировочный лагерь добровольцев, готовившихся к отправке в Боснию, — такой лагерь СКВР якобы организовал под Санкт-Петербургом — затребовал две тысячи долларов.

Примерно через год после той встречи в Петербурге на Юрия Беляева было совершено покушение. Сам он говорил о политических причинах теракта и утверждал, что нет худа без добра: теперь популярность НСП в народе еще больше возрастет. В Боснию, насколько мне известно, Беляев больше не ездил: движение помощи братьям-сербам выдохлось, потом началась война в Чечне, и российские национал-патриоты вспомнили о Югославии только после начала событий в Косове, куда потянулись новые «волки» — но уже не сотни и даже не десятки, а единицы.

Вялотекущий сербско-албанский конфликт у российских «патриотов» особого интереса не вызвал, чувство славянского братства проснулось только весной 1999 года, после начала операции НАТО против Югославии. В нескольких российских городах (Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь) открылись пункты записи добровольцев (кое-где этим занималась Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского). Однако массового размаха движение на сей раз не приобрело: конфликт оказался скоротечным. Албанцы из Косова в лагерях беженцев в Македонии рассказывали мне о том, что среди «сербских головорезов» встречали и русских бойцов, якобы отличавшихся особой жестокостью. Те же факты подтверждали и сотрудники ОБСЕ, опрашивавшие беженцев на предмет сбора доказательств о военных преступлениях. После начала международной миротворческой операции в Косове албанцы отказались пропускать российский батальон в городок Ораховац, где в составе сербских паравоенных формирований якобы действовали и русские каратели. Противостояние (местные жители блокировали ведущие к городу дороги) длилось несколько недель, и на сей раз пришлось отступить миротворцам. Правда, один из моих источников в прокуратуре Гаагского трибунала по

наказанию военных преступников в бывшей Югославии утверждал, что сколько-нибудь убедительных подтверждений участия русских добровольцев в косовских событиях нет.

Со своей стороны сербские средства массовой информации, веры которым тоже немного, охотно распространяли сведения о том, что в рядах Освободительной армии Косова (ОАК) сражались мусульмане из России — чеченцы и татары. Белградская «Политика» летом 1998 года даже утверждала, что одной из бригад ОАК руководит печально известный иорданец Хаттаб. Так или иначе, вскоре Россия опять затеяла военную кампанию на Северном Кавказе, и разговоры о русских или чеченских «комmando» на Балканах прекратились.

Война — это время рождения героических легенд, и борьба русских добровольцев за православную идею овеяна дымкой подвига. Не раз и не два в Боснии, Хорватии и Сербии слышал я историю о русском казаке, который, окруженный мусульманами, подорвал себя и врагов связкой гранат, не зная, что помощь сербских братьев уже близка. Рассказывали и о молчаливом бородатом русском парне, который, закинув за плечо снайперскую винтовку, уходил в одиночку в горы на несколько суток, а когда возвращался, на прикладе его ружья красовались свежие зарубки.

Если неизменными характеристиками русских добровольцев были стойкость и благородство, то враг в рассказах ветеранов боснийской войны неизменно представлялся трусливым, коварным и без меры свирепым. Мусульмане якобы распинали пленных на крестах, не жалели ни старых, ни малых, случилось, расстреливали противников в упор из крупнокалиберного оружия. Именно так, по свидетельству есаула Константина Ершкова, были убиты два русских добровольца из казачьего отряда, сражавшегося в районе Горажде. На вопрос о том, известны ли

ему факты жестокости со стороны сербов, есаул до-вольно сухо, но твердо ответил: «Нет. Мне такие факты неизвестны».

Почти в самом центре югославской столицы, неподалеку от парка Ташмайдан, стоит небольшая русская церковь — Свято-Троицкий храм. Это — подворье Русской Православной Церкви в Белграде, основанное в 1920-м эмигрантами из России. Здесь похоронен скончавшийся в 1928 году в Брюсселе Петр Николаевич Врангель. История горько усмехнулась и после смерти барона: он завещал похоронить себя в Белграде, в храме, под куполом которого развевались вывезенные на чужбину знамена Белой армии. Последнюю волю Врангеля выполнили, но в 1944 году при освобождении Белграда от нацистов знамена исчезли. Нашла ли душа барона упокоение? В середине девяностых годов рядом с могилой Врангеля в русском храме появилась еще одна памятная доска. На мраморе высечено 10 фамилий — среди них, кстати, и имя Константина Богословского, — а внизу видна короткая надпись: «Пали за сербов. 1992—93».

Россия не раз переживала приливы просербских симпатий. Вот «Письма из Сербии» Глеба Успенского — писателя и журналиста, военного корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости» на Балканах в 1876 году. «Партия добровольцев, — писал он, — это образчик всех классов, всех состояний и всех сортов понимания и развития, живущих на русской земле.» Перечисляя эти классы и «состояния», Успенский нашел-таки то общее, что собирало их, таких разных, воедино: «У всего этого народа, очевидно, было плохо и неладно в делах: не клеилась ни семейная, ни служебная жизнь; весь этот народ был и беден, и несчастен и не мог справиться с собой. И надоело биться ему — и вот он сказал себе: “Пойду в Сербию, жив буду — ничего, а убьют — все один черт!” Поистине, становится ужасно за это холодное

состояние души, которое нередко встречается в русском человеке, особенно здесь...»

Об этом же писал Лев Толстой в «Анне Карениной»: «В восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...» Забавно, что столетие спустя толстовские мотивы нашли продолжение в хорватской литературе: маститый загребский писатель Неделько Фабрио сочинил продолжение «Анны Карениной» под названием «Смерть Вронского», оформленное как девятая часть знаменитого романа. Фабула такова: перенесшийся в XX столетие Алексей Вронский от отчаяния и несчастной любви отправляется на новую балканскую войну — защищать сербов. Как объяснил мне Фабрио, в Хорватии «Вронский совершил самое трагическое открытие в своей жизни, идеалы борьбы за справедливость столкнулись в его душе с реальностью. Поэтому, не найдя сил жить дальше, Вронский совершил самоубийство на минном поле под Вуковаром». Фабрио легко оправдывал эпигонство: «Использование такого литературного приема обычно в практике постмодернизма, кроме того, этот метод помогает привлечь внимание читателя не только к моей книге, но и к тому положению, в котором оказалась Хорватия. К сожалению, правда о войне не до конца известна в России».

Иван Черников, Юрий Беляев, Константин Ершков, погибшие Костя Богословский, Владимир Сафонов и Дмитрий Попов; от рядового до полковника, каждый со своим пониманием национальной идеи, со своими представлениями о долге и совести — так что же поставило их плечом к плечу? Фанатизм? Бесшабашность? Казачья удаль? Ненависть ко всяческому «инородцам»? Или просто смутное время, переживаемое Россией и Балканами?

Вот слова Юрия Беляева: «В Боснии начинается третья мировая война. Идет подавление всего славянства в Европе. И не только русских, но и сербов, поляков, других славян. Дело в том, что и нам придется воевать в скором будущем. Вот мы как раз и куем в Югославии кадры, работаем на перспективу». Есаул Ершков, ко всему прочему кавалер казачьего креста «За оборону Приднестровья», определил причины своего участия в «чужой войне» четко: «Приезжали сербы, просили на казачьих сходах помощи. Передо мной встала альтернатива: или снять с себя офицерские погоны, носить которые большая честь, с великим бережением положить их на стол Атамана и сказать: “Не казак, не могу, не поеду”. Или — ехать и воевать. Выбрал второе». «Министр» Черников, которому положено мыслить глобальными категориями, так объяснял причины появления нового поколения казаков на Балканах: «Это выражение нашей национальной воли, это защита чести и достоинства России на Балканах, это защита наших братьев, близких нам по крови. Это великое дело».

В XIX столетии за «великое дело» почиталась, по выражению того же Успенского, «необходимость сократить безобразника-турка», угнетающего славян. В конце XX века в разряд врагов попали славяне — хорваты и мусульмане, но какие-то «неправильные» славяне, что ли... непутевые...

Без веры нет свободы

«Без веры нет свободы» — это девиз бойцов 7-й горной бригады правительственной армии Боснии и Герцеговины «Эль Муджахид». Бригада сформирована в октябре 1992 года в городе Травник и принимала участие практически во всех наступательных операциях 3-го и 7-го корпусов боснийской ар-

мии. Воевали в ее рядах только ревностные мусульмане (боснийцы вместе с турками, иранцами и арабами), а командовал «борцами за веру» сначала полковник Амир Кубура (летом 2001 года он обвинен Международным Гаагским трибуналом в совершении военных преступлений), а затем — полковник Халил Брзина. Роль «духовного отца» 7-й бригады, насчитывавшей примерно 500—700 боснийцев и около 200 иностранных добровольцев, сыграл эфенди Назим Халилович, по прозвищу Мудерисс. Получивший теологическое образование в Каире, он считал, что за свободу Боснии могут успешно сражаться только «армия и народ, идущие по указанному Аллахом пути».

7-я горная отличилась в боях в Центральной и Юго-Западной Боснии, выделяясь среди других частей стойкостью, дисциплиной и жестокостью. Однако с политической точки зрения ее существование быстро стало неудобным для Сараева: сомневающимся в целесообразности создания на территории бывшей Югославии исламского государства 7-я бригада давала повод для упреков. Впрочем, моджахеды, зачастую выполнявшие в боснийской армии обязанности политических комиссаров, входили в состав практически всех подразделений — только на зеничко-добойском участке фронта их было, по разным данным, 1500—3000 человек.

Считалось, что к концу войны в Боснии осталось около двух тысяч моджахедов из десятка мусульманских стран (Иран, Пакистан, Афганистан, Тунис, Ливия, Египет). Естественно, эти данные никто проверить не мог — еще и потому, что боснийское гражданство оформить было несложно, а базы иностранных боевиков охранялись очень бдительно, доступа к ним не получали даже проверенные местные журналисты. Оставался спорным и вопрос о том, до какой степени моджахеды действовали автономно,

подчинялись ли они в принципе генералам правительственной армии. Году в 93-м вообще казалось, что вся эта армия вместе со страной идет по начертанному Аллахом пути: на парадах, которые принимал боснийский президент Алия Изетбегович, приказы отдавались на арабском языке, а в авангарде боевых колонн под зеленым знаменем ислама шествовали устрашающего вида бойцы в белых шароварах и с закрытыми черными повязками лицами.

В Боснии «исламский фактор» оказался скорее вопросом формы, чем содержания: правительство в Сараеве рано или поздно должно было сделать выбор, и этот выбор оказался не в пользу радикального ислама. Однако и после подписания Дейтонских соглашений исламские подразделения не торопились разоружаться. Международным посредникам пришлось проявить настойчивость для того, чтобы местные власти наконец отправили иностранных бойцов домой.

Практически все иностранцы, воевавшие в боснийской армии, — добровольцы, а не наемники: войны за веру святы, а потому их не останавливает подписание мирных соглашений. Правительство Сараева обязалось демобилизовать исламских бойцов в течение месяца после заключения мира, но выполнять это обещание не спешило, и столкновения моджахедов не только с противниками, но и с союзниками-хорватами продолжались.

В девяностые годы Босния и — в меньшей степени — Хорватия попали в сферу внимания фундаменталистских мусульманских организаций. В октябре 1995 года у полицейского участка в хорватском городе Риека боевики египетской организации «Аль-Гамаа Аль-Исламиа» взорвали бомбу-автомобиль, предупредив хорватские власти: ссора с нами чревата неприятностями. Месяцем ранее в Загребе был арестован один из лидеров «Аль-Гамаа Аль-Исламиа» шейх

Абу Таляль Аль-Касыми. Формально — за нарушение паспортного режима, на деле — поскольку ему инкриминировали переброску «солдат Аллаха» в Боснию. Такие каналы существовали до самого конца девяностых годов. Абу Таляль Аль-Касыми бесследно исчез — в его организации предполагали, что хорватские власти выдали шейха Египту. Осенью 2000 года «Аль-Гамаа Аль-Исламиа» отправила письмо хорватскому руководству с обещанием «превратить всю страну в факел» в том случае, если судьба лидера террористов не будет прояснена.

За первые послевоенные годы число моджахедов в Боснии не уменьшилось, они осели в Завидовичах, Тешње, Бугойно, Зенице, Травнике и других боснийских городках и селах. Формально почти все иностранцы превратились в боснийцев, получив местное гражданство, завели семьи, переженившись на местных девушках (или выкупив жен), и жили закрытыми исламскими общинами.

Самая большая такая коммуна, почти 300 семей, возникла в бывшем сербском селе Донья Бочинья неподалеку от города Маглай, километрах в 100 к северу от Сараева, откуда прежде население выгнали в военное время. Есть данные о том, что поселенцы поддерживали контакты с мусульманскими центрами. У арестованного в 1999 году в Турции Мехреза Амдуни, сотрудника Усамы бин Ладена, обнаружили боснийский паспорт. Исламскую общину в Доньей Бочинье возглавлял некто Абу Мина, которого западная печать обвиняла в причастности к совершению нескольких террористических актов.

Довольно долго общины вроде бочиньской каким-то непостижимым образом оставались незамеченными чиновниками миротворческих организаций в Боснии. Летом 2000 года было предпринято несколько попыток вернуть в Донью Бочинью сербских беженцев, но

правоверные отказывались покидать деревню, перекрыв дороги баррикадами. Большинство моджахедов в конце концов выселились из Доньей Бочиньи, унося с собой все, что могли унести, — снимали даже черепицу с крыш. Но мало кто покинул Боснию — почти все перебрались в другие районы страны.

Многие осевшие в Боснии моджахеды, хотя и ревностно практиковали ислам, утратили навык сражаться за веру с оружием в руках. Многие, но не все. В конце 1999 года корреспонденту загребского еженедельника «Глобус» удалось посетить лагерь никуда не демобилизованных моджахедов, которые готовились к новым святым войнам. Лагерь располагался в горном массиве Озрен, рядом с городом Маглай. По утверждениям «Глобуса», это крупнейший в Европе центр по подготовке «исламских бойцов», где под руководством местных инструкторов на трехмесячных курсах готовились рекруты для участия в боевых действиях в Косове, Чечне или Дагестане. В конце 99-го года в Чечню из Боснии отправился отряд из 30 человек во главе с тунисцем Абу Аль Ма-Али, в свое время — полевым командиром бригады «Эль Муджахид». Переброской бойцов в Боснию и из Боснии занималось частное туристическое агентство «Эйр Коммерс Абаджич» из города Мостар. В лагере в горах Озрен моджахеды жили в спартанских условиях в палатках или деревянных бараках, целые дни проводили в молитвах, изучении Корана и военных упражнениях, для которых лагерь имел неплохую материальную базу — от стрелкового оружия до легкой артиллерии. Вместе с иностранными «курсантами» обучение в лагере проходили и две сотни боснийских юношей, принявшие шариат. Финансовое обеспечение лагеря осуществляла гуманитарная организация «Феджир».

И спустя пять лет после окончания боснийской войны местные моджахеды пользовались симпатиями

по крайней мере части сараевского руководства: отряд Абу Аль Ма-Али в Чечню провожал сын Али Идетбеговича, Бакир. Во многих боснийских городах действовала пользовавшаяся покровительством властей якобы благотворительная организация «Активная исламская молодежь», возникшая еще в годы войны как рекрутский центр бригады «Эль Муджахид». Конфликт в Боснии закончился, однако боевой пыл моджахедов угасал медленно: веры в них столько, что на нее не хватит никакой свободы.

Братья по крови

Осенью 1993 года в Мостаре хорватский генерал, командующий Хорватским Вечем Обороны (ХВО) Слободан Праляк так ответил на мой вопрос о сражающихся в его войске гражданах иностранных государств: «В нашей армии нет наемников, но если человек с оружием в руках решил поучаствовать в деле борьбы против сербской агрессии, его национальность меня не интересует». Большинство сражавшихся на стороне Загреба были хорватами по крови — эмигрантами или детьми эмигрантов, бежавших из Югославии во времена Тито. Загреб охотно принимал на службу, например, бывших солдат Иностранного легиона, которые в первые месяцы войны пользовались в Хорватии большим авторитетом и легко получали генеральские погоны.

Под знамена хорватской независимости собирались и люди с сомнительным прошлым, полукриминальный сброд, рассматривавший войну как возможность обогатиться. Особенно много таких людей было в Герцеговине — это неразвитый в экономическом отношении край, один из традиционных районов иммиграции. В ХВО существовали подраз-

деления, укомплектованные «иностранцами» — хорватами с немецкими, бельгийскими, канадскими паспортами. Печальную известность получила так называемая «рота заключенных» под командованием Ивана Андабака и Младена Налетилича Туты. Тута считался одним из королей немецкого преступного мира, сколотившим состояние на игорном бизнесе и торговле наркотиками. В его роте, как утверждала хорватская пропаганда, служили исключительно бывшие политзаключенные, пострадавшие в социалистические времена за народное дело. «Политзаключенные», по большей части настоящие уголовники, усердствовали в проведении карательных операций, причем не только в отношении противников, но и мирного населения, отстреливали несговорчивых хорватских офицеров, мешавших превращению Герцеговины в зону криминальных операций. Приблатненный образ героического партизана Туты поблек вскоре после войны: он стал неудобен Загребу, и командира «роты политзаключенных» арестовала хорватская же полиция по уголовному обвинению. Впоследствии Налетилич и один из его сотрудников Винко Мартинович «Стела» были выданы Международному Гаагскому трибуналу, а Андабак арестован хорватами осенью 2000 года. Помимо обвинений в военных преступлениях, Андабаку вменили в вину еще и торговлю наркотиками.

Хорваты гордились тем, что в их армии сражаются и «настоящие» иностранцы — в Загребе это считалось лишним подтверждением симпатии, которую питает к свободолюбивому народу мировая общественность. В 1991 году в Хорватии много писали о так называемой «интербригаде», частично составленной из иностранных журналистов, которые презрели профессиональный долг ради личной борьбы с неправдой. «Интербригадой» (на деле это был взвод) командовал

бывший сотрудник испанской газеты «Бангвардия» Эдуардо Роса Флорес. Венгр по матери, родившийся в Боливии, обладатель сразу пяти паспортов (в том числе — российского), он был известен под прозвищами «команданте Флорес» и «Чико» («Мальчик»). В молодости команданте якобы учился в советском военном училище в Минске, каким-то образом был связан со специальными службами, но затем выбрал журналистику в качестве основной профессии. Воевала бригада майора Флореса в Восточной Славонии в составе подразделений Национальной гвардии (собственно армии у Хорватии тогда еще не было). В «интербригаду» входили и трое русских бойцов, отправленных лидером французского Национального фронта Ле Пеном в качестве живого подарка хорватским товарищам по идеологической борьбе.

Загребские власти ударно эксплуатировали тему интернационального участия в борьбе против сербской агрессии, однако в самом начале 1992 года произошло событие, эту идиллию перечеркнувшее. При крайне странных обстоятельствах был убит (не то самим Флоресом, как утверждала организация «Репортеры без границ», не то сослуживцами-хорватами, не то врагами — сербскими четниками) один из бойцов интервзвода, бывший корреспондент швейцарского радио, Кристиан Вюртембург. Как писал журнал «Глобус», Вюртембург по заданию одного западного информационного агентства собирал информацию о торговле наркотиками и оружием в бывшей Югославии, а Флорес в этом отношении якобы представлял собой прекрасный объект для исследования. Вслед за Вюртембургом (как утверждают, от шальной пули) погиб фотокорреспондент британской газеты «Индепендент» Пол Дженкс, прибывший в Осиек для того, чтобы выяснить подлинные причины смерти швейцарского коллеги. Вскоре после этого «интербригаду»

расформировали, Флорес написал книгу воспоминаний и осел в Будапеште. О боливийско-венгерском «команданте» и его «интербригаде» даже сняты документальные фильмы с красивыми названиями — «Псы войны» и «Умирая за правду» (производство ВВС и британской же компании «Ченнел 4»), в которых Флорес предстает как авантюрист и проходимец. А вот венгерский режиссер Иболи Фекете увидела своего полусоотечественника рыцарем без страха и упрека; ее фильм «Чико» в 2001 году был даже удостоен одной из наград кинофестиваля в Карловых Варах.

Служили в хорватской армии и наемники, в том числе и наемники из России, которых балканская война интересовала исключительно с точки зрения денежного вознаграждения. Большинство составляли представители западного мира: итальянцы, бельгийцы, канадцы, британцы, немцы. В 1996 году в Хельсинки вышла содержащая довольно пикантные детали книга воспоминаний финского наемника, воевавшего в форме ХВО. Книга наделала много шума, не в Хельсинки, конечно, а в Загребе, поскольку финский парень откровенно рассказал о том, какими ему представлялись задачи «справедливой хорватской борьбы за независимость».

Самый известный среди наемников — профессиональный «солдат удачи» Франциско Локрини, который, если верить его откровениям журналистам, за четверть века боевой карьеры принял участие по крайней мере в десятке войн в Африке, Азии и Латинской Америке. Добросовестный труд ветерана-снайпера Локрини (чилийца по паспорту, сына итальянца и хорватской эмигрантки) всюду прекрасно оплачивался, а в Боливии Локрини даже якобы принимал участие в ликвидации отряда Че Гевары. Другой латиноамериканец, аргентинский «коммандо»

Родриго Саведра, поступил на службу к хорватам в начале 90-х годов. За «особые заслуги» ему предложили хорватское гражданство, и Саведра несколько лет после окончания войны служил инструктором в 350-й особой разведбригаде. Еще более примечательной фигурой загребским журналистам казался итальянец Джузеппе Сабеллиу. Патриотическая пресса превозносила его храбрость до той поры, пока не выяснилось, что на родине Сабеллиу обвинен в связях с мафией и разыскивается полицией.

В конце концов миф о симпатичных бесребрениках со всего мира, которых исключительно благородство влечет пострелять в сербов, развеялся. Эпоха «интербригад» закончилась: стало ясно, что если у такого рода бойцов и есть своя вера, то связана она не с именем Спасителя.

Маршал



Миф об учителе и вожде

Броз курит гаванские сигары и пьет виски марки Chiwas Regal двадцатипятилетней выдержки. Своим гостям обычно предлагает вина урожая того года, который совпадает с годом их рождения.

Милорад Павич

Семейные ценности

Футбольный матч между командой «Хайдук» из Сплита и белградской «Црвеной звездой» остановлен на 41-й минуте первого тайма. Комиссар матча попросил судей собрать футболистов в центре поля, а диктор сообщил ошеломленным зрителям: умер товарищ Тито. Президиум Социалистической Федеративной Республики Югославия сообщил народам страны: «4 мая в 15 часов 5 минут в Любляне скончался Президент СФРЮ и председатель Союза коммунистов Югославии Иосип Броз Тито». Футбольный матч на сплитском стадионе «Полюд», естественно, прервали. Очевидцы рассказывали, что болельщики на трибунах стихийно принялись петь: «Товарищ Тито, мы клянемся: с твоего пути не свернем никогда!».

События этого майского дня 1980 года, дня, оказавшегося роковым для страны, волнуют бывшую Югославию так же, как бывший Советский Союз волнует смерть Сталина, они многократно пересказаны в книгах и кинофильмах. Пересказаны как драма, как трагедия, как фарс. Режиссер Срджан Драгоевич в середине девяностых годов включил в посвященный боснийской войне фильм «Красивые деревни красиво горят» сцену, черный юмор которой характерен для восприятия личности Тито его согражданами. Сельский почтальон и сельская учительница торопливо предаются любви на лесной полянке под музыку из

транзисторного приемника. Вдруг песня прерывается, и диктор объявляет горестную весть. Любовники, не сговариваясь, прерывают акт и принимаются горько плакать, а партнерша машинально стаскивает почтальонскую фуражку с головы партнера...

На похороны товарища Тито в Белград 8 мая съехались 209 делегаций из 127 стран мира. Главы государств и правительств огромной толпой выстроились на специальной трибуне высотой в 16 рядов. В первом ряду, третий справа — советский лидер Леонид Брежнев. Именитые политики выражали соболезнования одетым в черное членам большой семьи президента. Через двадцать лет старший внук маршала, не выбирая выражений, скажет: «Последняя жена моего деда, Йованка Броз, уничтожила сердце Тито. Она не имела права стоять у изголовья его гроба!». В день смерти маршала, из года в год, родственники приходят на его могилу, строго соблюдая очередность: в восемь утра возлагает цветы вдова, тремя часами позже у надгробного камня появляются дети и внуки вождя. Они до сих пор стараются не встречаться друг с другом, и у каждого на это есть свои причины.

Известно, что в жизни югославского вождя заметную роль играли женщины. Первая супруга Тито — русская Пелагея Белоусова. Солдат австро-венгерской армии Иосип Броз познакомился с ней, после ранения оказавшись в плену в России, где остался еще на несколько лет после окончания Первой мировой войны — завершать университеты коммунизма. Вскоре в семье родился первенец — Жарко. Именно подпись Жарко на документе, разрешающем провести Тито ампутацию ноги в люблянском госпитале в 80-м году, стала решающей — так и не оправившись после этой операции, Тито скончался. В середине девяностых годов в Белграде умер и сам Жарко. Вдова маршала Йованка до последних дней не могла простить пасынку того, что он уступил давлению аппара-

та президента, — если бы не ампутация, 86-летний Тито, кто знает, остался бы жив...

Из этой, «белградской», ветви семьи Тито наибольшей известностью пользуется старший внук президента, сын Жарко, Йошко Броз (1942 г.р.). Владелец скобяной мастерской, отец двоих сыновей и дед двоих внуков, он далек от политики, но бдительно стоит на страже «дела деда», ни на йоту не сомневаясь в правоте политических взглядов Тито. На память о маршале у Йошко остались только когда-то подаренные ему маршалом охотничье ружье и золотые часы. Жарко, подобно отцу, женился трижды; оставленная им ради другой женщины мать Йошко вернулась к себе на родину, в Россию, и двое детей — сам Йошко и его сестра Златица (1949 г.р.) — оказались между небом и землей. Судьбу малышей определил маршал — он забрал в свой дом внуков и фактически заменил им родителей. Йошко с усмешкой вспоминает о том, что дед его был строг и справедлив: как-то раз мальчишке здорово досталось за то, что он вырвал несколько перьев из хвоста павлина, гулявшего в парке президентской виллы. Когда Йошко вырос, то стал милиционером и служил в антидиверсантском подразделении, обеспечивавшем безопасность Тито, — вплоть до самой смерти маршала. Йошко Броз часто сопровождал деда в поездках на охоту и какое-то время управлял несколькими военными охотничьими угодьями.

«Я много раз организовывал для Тито охоту, а потому знаю: он был отличным стрелком, — рассказывает Йошко Броз. — Сейчас такое увлечение может показаться странным, но прежде охоту любили многие государственные деятели, и это занятие считалось чуть ли не разновидностью светской жизни. На охоте политики легче устанавливали контакты... Тито много с кем охотился, без проблем сходил с людьми. Он не выносил разве что румынского лидера Николае Чаушеску, который никогда не выбирал себе цель и

стрелял куда ни попадя. Однажды в Словении они вдвоем охотились на диких коз, и Тито просто пришел в бешенство: «Посмотри, да это же не охотник, он убийца какой-то!». Тито почти до конца жизни сохранил острое зрение и твердую руку. Как только (это случилось во время охоты на фазанов) он почувствовал, что потерял форму, — больше не брал ружье в руки».

У Йошки и Златицы есть еще одна сестра — Светлана (1955 г.р.). Она появилась на свет от брака Жарко с чешской Златой Елинковой и живет в Сараеве, куда когда-то переехали из Австро-Венгрии предки ее матери. Светлана, подобно многим родственникам, тоже имеет бурную биографию: у нее двое детей от четырех мужей. После смерти деда Светлана осталась в Белграде, но затем вынуждена была перебраться в соседнюю Боснию. «Изменившуюся атмосферу в стране лучше всего характеризуют страдания моих детей, — рассказывает Светлана. — В начале 90-х годов сын и дочь, еще совсем маленькие, каждый день возвращались из школы избитые до крови, в разорванной одежде...» Несколько лет назад Светлана Броз написала книгу «Добрые люди в злые времена», включающую в себя свидетельства жертв войны в Боснии и Герцеговине, во время которой внучка Тито, врач-кардиолог, оказывала помощь пострадавшим независимо от их национальности. Книга стала бестселлером, однако успех внучки маршала другие члены его семьи оказались категорически неготовы разделить.

На общение со Светланой Броз среди родственников давно наложено табу. «Мы все сохраняем друг к другу теплое отношение, — говорит Йошка Броз, — исключением является только Светлана. Семья отреклась от нее из-за бесконечных грязных скандалов, раздуваемых Светланой в прессе, и из-за ее безобраз-

ного поведения при разделе имущества моего отца Жарко». Сам маршал не оставил наследства, поскольку практически все, чем Тито с таким вкусом и таким удовольствием пользовался при жизни, принадлежало государству. Завещание предписывало разделить на три равные доли (в пользу супруги и двоих сыновей) гонорары от написанных маршалом книг, составившие всего несколько тысяч немецких марок. Иосип Броз, очевидно, верил, что созданная им Югославия окажется вечной, и не переводил партийные средства на счета в зарубежных банках.

...В «изгоях» оказалась не одна Светлана. Йошко признает, что семья не поддерживает никаких контактов и с «теткой Йованкой», Йованкой Будисавльевич-Броз — вдовой президента. Открытого конфликта не было, просто после смерти маршала Йованка, как утверждает Йошко Броз, «замкнулась в себе». «Первая дама» Югославии моложе своего мужа на 32 года, вместе они прожили больше четверти века, не случайно один журналист назвал супругу президента «вдовой Югославии». Но верно говорят, что за прелести пребывания у власти приходится дорого расплачиваться. Жизнь Йованки Броз сложилась трагически: она оказалась разделенной с мужем еще до его смерти. Последние пару лет то ли по решению самого Тито (как утверждают родственники), то ли под давлением президентского окружения (в чем убеждена вдова) Иосип и Йованка провели врозь. Не позволили супругам встретиться и перед роковой операцией. Через две недели после смерти маршала сотрудники военной полиции перевезли Йованку из белградской резиденции Тито на небольшую виллу на бульваре Мира.

Там, фактически под арестом, она и прожила много лет. Сама Йованка утверждала, что у нее не осталось ни личной собственности, конфискованной полицией, ни памятных вещей мужа, ни даже докумен-

тов, с помощью которых она могла бы уехать из страны. Правительство предоставило ей в распоряжение лишь автомобиль с шофером да выплачивало небольшое пособие. Йованка полагала, что желание властей упрятать ее подальше от общества вызвано суетой вокруг политического наследия Тито и опасениями относительно того, что она, женщина амбициозная, много знавшая и имевшая на мужа сильное влияние, могла вмешаться в эти споры. «Тито был человеком крутого нрава и дурного характера», — пожаловалась Йованка в 95-м году в беседе с британским журналистом, в одном из очень немногих интервью, которые дала за много лет затворничества.

При жизни маршала югославская пресса иногда публиковала фотографии семьи президента, глядя на которые вряд ли заподозришь неладное. Вот Йованка и Тито с внуками Йошко и Златицей — дети в нарядных костюмчиках, в обнимку с президентской четой, в окружении цветов и в роскошных интерьерах. «Я никогда не скрывал, что не любил Йованку, — делится воспоминаниями Йошка Броз. — Когда я был совсем мальчишкой, то выбросил с балкона ее первый подарок, велосипед. Да и она с трудом выносила нас, его семью, все время старалась отдалить нас друг от друга. Тито многое позволял нам за ее спиной, скрывая дедовскую любовь. К концу жизни он не хотел разводиться из уважения к прожитым с Йованкой годам, но видеть ее не желал». Строго следуя такой позиции Йошко, никто из семьи Броз годами не заходил в гости к Йованке в дом на бульваре Мира.

«Загребскую» ветвь семьи Тито представляют младший сын президента Александр Миша (1942 г.р.) от второй жены маршала, словенки Герты Хаас, и его дети и внуки. После того как Хорватия добилась независимости, Александр стал дипломатом, работал в посольствах в Москве и Пекине. Это мягкий, спокой-

ный, доброжелательный человек, который старается публично не вспоминать о своем происхождении и всеми силами уклоняется от разговоров с журналистами на семейные темы. У Александра Миши — двое взрослых детей: старший сын получил экономическое образование, дочь стала известным в Загребе театральным режиссером. В столице Хорватии живет и сын Жарко Броза Эдвард.

«Brozna vremena»

Составители британского справочника «100 самых знаменитых полководцев всемирной истории» поставили на 84-е место в своем списке Иосипа Броз Тито. В самой Югославии в числе многочисленных определений эпохи Тито фигурировало и такое — «Brozna vremena» («Брозовы времена»), парафраз легко читающегося и на русском языке выражения «grozna vremena». О вожде социалистической Югославии написано множество книг, снято немало фильмов, историки подробно и успешно подвели итоги его государственной деятельности. Подведение таких итогов — дело, конечно, произвольное. Вот какие достижения Тито считает главными мой сараевский приятель Ильяс, человек, далекий от политики: Тито смог выиграть войну против фашистов; ему удалось на целые полвека успокоить в стране национальные страсти; наконец, маршалу достало мужества успешно сопротивляться советской экспансии.

Историки рассказывают, что в конце сороковых годов перелом к худшему в отношениях между Москвой и Белградом наступил после того, как в Советском Союзе заметили: имя маршала Тито ставят выше имени генералиссимуса Сталина не только в Югославии, но и в других странах народной демократии. В

московских газетах быстро разработали «специальный» стиль карикатуры: югославского лидера рисовали безобразным стариком в черной военной форме, украшенной значком доллара и фашистскими крестами, в фуражке с высокой тульей нацистского образца. На рисунке под названием «Накануне выборов в Югославии» на столе перед маршалом разложены наручники и полицейская дубинка, кровавый топор, плетка, пузырек с ядом, а также две стопки бумаг под названиями «Ложь» и «Клевета». «С таким убедительным агитматериалом мы добьемся необходимого большинства!» — утверждает Тито.

Советская пропаганда и сама готовила «убедительные агитматериалы», причем не только политического и документального характера. В 1951 году писателю Оресту Мальцеву за роман «Югославская трагедия» присуждена Сталинская премия второй степени. Вот фрагмент этого произведения, беседу об особенностях характера Тито ведут два представителя американских специальных служб в Югославии — полковник Хантингтон и Шерри Маккарвер.

« — Слушайте, Шерри, эти козыри я вам доверительно сдам — и не без умысла... Вкусы и привычки господина Тито отнюдь не аскетические. У меня тут их целый перечень. Он любит кутежи, вино и женщин. Его секретарша Ольга Нинчич...

— Пышная булочка, — одобрил Маккарвер.

— Одна из нескольких, впрочем, не считая жен.

— У него еще и жены есть?

— А как же! Одна — в России, вторая — в Хорватии, третья — в Словении.

— Ну и ну! Как же это удалось узнать?

— Стратегическая разведка! Нас в данном случае интересует его увлечение Ольгой Нинчич. Девица она породистая. Дочь королевского министра Момчилы Нинчича... Наш человек. Только через нее можно попасть к маршалу. Говорят, что ког-

да к Тито приехала жена-хорватка, то Нинчич даже легла ночью между ним и ею... Охраняет нравственность маршала! — Хантингтон смачно рассмеялся. — Представляете этот пикантный эпизод?.. Итак, дальше о Тито. Властолюбив, тщеславен. Всегда стремится обратить на себя внимание, много заботится о своем туалете и внешности. Заметили? Выщипывает разросшиеся белесые брови, чтобы сделать их потоньше. Воображает, что его профиль вполне подходит для чеканки на монетах. Любит роскошь, золото, драгоценности.

— Что ж, у него здоровый вкус к жизни, — заметил Маккарвер.

— Жаден чрезвычайно... Надо сказать, Шерри, что более алчного взгляда я не встречал... Двулик, как Янус. Человек с богатыми актерскими данными. У него огромное самомнение. Мнит себя чуть ли не балканским Бонапартом. Вообще стремится подражать монархам и великим людям — кое в чем Юлию Цезарю, кое в чем Наполеону... Этот жалкий пигмей копирует их привычки, походку, позы. Таскает с собой в чемодане маленький бюст Наполеона и при удобном случае ставит его на свой рабочий стол...

<...>

Помолчав, Хантингтон медленно набил табаком потухшую трубку, закурил. Его желтые сухие пальцы вздрагивали. Он рассеянно посмотрел в окно, в котором уже синели сумерки, и со вздохом протянул:

— Слабовато!

Поднявшись из-за стола, он прошелся по комнате, разминая затекшие ноги, постоял у окна, несколько раз глубоко протянул из трубки и снова заговорил:

— У Тито, к сожалению, есть еще и такие минусы, которые нам могут быть даже опасны. Он неврастеник, почти психопат. Часто орет на подчиненных, выходит из себя, угрожает. Этим только отталкивает от себя людей. Кроме того, он — трус, и порядочный. Боится показываться в армии, среди народа, боится ездить по освобожденной территории... Поступает часто необдуманно, противоречиво...

<...>

Хантингтон поднялся во весь рост.

— Слушайте, Шерри! Никаких колебаний! Действуйте!

Прорывайтесь к Тито сегодня же. Напомните ему, кстати, о радиопередачах из Испании, в которых утверждается, что Тито, выступающий сейчас в роли друга Советского Союза, — это двойник Тито, а настоящий, истинный Иосип Броз — националист и антисоветский человек, крупный авантюрист, враг народной власти. Не останавливайтесь ни перед чем. Дайте ему понять, что он найдет в нас нового щедрого хозяина и более сильного покровителя, чем англичане и русские. Не щепетильничайте с ним, Шерри, возьмите его хорошенько за жабры.

Пламя в очаге, вспыхнув в последний раз, погасло.

В полнейшей темноте глухо прозвучал голос Маккарвера:

— О'кей!»

Оресту Мальцеву было за что присуждать премию: образ «антисоветского человека» и «жалкого пигмея» раскрыт с большой художественной силой. Но всего через несколько лет после публикации книга Мальцева потеряла актуальность: Сталин умер, Москва и Белград худо-бедно помирились, и Иосип Броз Тито вновь превратился в «соратника и брата». Наступило потепление: и Никита Хрущев, и Леонид Брежнев любили гостить на многочисленных виллах югославского президента, особенно на островах Бриюни. Вот как вспоминает ту пору один из ветеранов хорватской журналистики: «К нам приехал Хрущев. Открытая машина. Оба стоят в белых костюмах, оба широко улыбаются. А я думаю: “Боже, ну и силища же мы! Представьте себе только: огромный Советский Союз и мы! Кто что-то может против нас?”».

Исторический опыт Тито может пойти впрок другим авторитарным лидерам еще и потому, что к списку трех главных достижений маршала вполне уместно

добавить четвертое: он овладел искусством при социализме жить, как при капитализме. Тито любил дорогие сигары и виски «Чивас Регал», не чурался развлечений партийных бонз — охоты и рыбалочки, слыл ценителем женской красоты, словом, охотно вкушал те радости жизни, которые предоставляет неограниченная власть. Многие прощали и прощают вождю это — хотя бы потому, что считают: культ личности Тито скроил точно под размер созданной им страны и своего белого маршальского мундира.

...Прямо с пирса крохотного порта Вели Бриюн можно увидеть, как в морской глубине играют здоровенные рыбищи. Рыбу тут, впрочем, ловить не разрешается, а с некоторых пор запрещено и подводное плавание — после того как итальянский аквалангист поднял со дна Залива Цепей и попытался контрабандой вывезти из Хорватии набитую драгоценностями римскую амфору. Простые смертные здесь могут просто ходить, смотреть и восхищаться.

В летней резиденции на Вели Бриуне Иосип Броз проводил иногда по несколько месяцев в году. Остров, отделенный от полуострова Истрия нешироким проливом, прежде принадлежал семье венского промышленника Купельвизера. «Здесь он закуривал свои вчерашние недокурные трубки и пил из них горький дым вместо утреннего кофе», — писал о Купельвизере Милорад Павич. Австрийский хозяин построил на Бриуне школу, пристань и маленькую электростанцию, а также провел к островам по дну канала водопровод протяженностью в двадцать километров. Все это хозяйство после Второй мировой войны, естественно, национализировали, а в пятидесятые годы 14 островов архипелага объявлены национальным парком. С островов вывезли местное население, а на западном берегу Вели Бриюна, рядом с античными руинами (когда-то римляне устроили здесь госпиталь для легионеров) и византийским го-

родищем, специально для президента построили три роскошные виллы — они носят названия «Ядранка», «Бриунка» и «Бела вилла».

Если верить историческим преданиям, в обмелевшем сейчас бриюнском пруде Тигань много столетий назад телами погибших на арене в соседней Пуле гладиаторов выкармливали мурен для императорского стола. Вот в этом райском уголке, вдалеке от нескромных взоров народа, товарищ Тито и принимал дорогих гостей — политиков из десятков стран мира, актеров, спортсменов и писателей. Шутили, что архипелаг Бриюни стал неформальным штабом Движения неприсоединения, одним из лидеров которого была титовская Югославия. На острова приезжали Никита Хрущев и Леонид Брежнев, Индира Ганди и Муамар Каддафи, Мао Цзэдун и Сухарто, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор, Ричард Бартон и Джина Лоллобриджида. Многие гости привозили в подарок хозяину экзотических животных, и со временем на Бриюни возник целый зоопарк. Верблюды, газели, зебры, антилопы, павлины-мавины и прочая живность и теперь чувствуют себя на острове как дома. Тишину, и то предельно деликатно, лишь изредка будоражит экскурсионный паровозик, провозящий туристов околлицей сафари-парка. Здесь, вдали от борений политической жизни, Тито удил рыбу, подвязывал виноградную лозу, гулял в праисторической оливковой роще и иногда, вспоминая молодость рабочего-металлиста, вытачивал на токарном станке какую-нибудь нехитрую деталь.

Три виллы на острове Вели Бриюн — не единственные резиденции маршала. Он, хозяин Югославии, без ограничений пользовался как бывшими особняками королевской семьи Карагеоргиевичей, так и новыми, уже социалистической эпохи, постройками. Каждая из шести республик фе-

дерации была товарищу Тито домом. Вот перечень только некоторых имений маршала: дворцы Смедерево в Сербии и Караджорджево в Воеводине, вилла «Загорка» на холме Пантовчак в Загребе, вилла в Милочере на черногорской ривьере, замок и охотничий домик в Брдо под Кранем в Словении. Все это недвижимое имущество досталось в наследство постюгославским лидерам.

Хозяином Бриюни «после Тито» стал президент независимой Хорватии Франьо Туджман, который до такой степени следовал традициям своего предшественника, что даже велел пошить себе точно такой же белый маршальский мундир. За сохранностью вилл следила многочисленная челядь, а за безопасностью президента — «спецназовцы» в малиновых беретах.

Потом не стало и Туджмана. Прдемократическая хорватская власть стала скромнее, архипелаг, куда прежде попадали преимущественно избранные, почти целиком открыли для туристов. А наследство Тито, которое особенно никого не интересовало, поскольку давно перестало восприниматься как национальная ценность, потихоньку распродалось. Слонов Ланку и Сони, когда-то подаренных Тито Индирой Ганди, зоологический сад Бриюни уступил немецкому бизнесмену. По словам директора зоопарка, слонам оказался вреден влажный морской воздух, а Сони к тому же стал проявлять необузданный характер, однажды даже затоптав антилопу. Автомобиль «Мерседес» С—280, привезенный на острова в 1965 году главой ГДР Эрихом Хонеккером, за 30 тысяч немецких марок пошел с молотка на аукционе. Достойного покупателя дожидается и другой подарок Хонеккера — небольшая яхта, на которой Тито иногда совершал короткие поездки вдоль побережья.

В конце концов перешла в частные руки краса и гордость «коллекции Тито» — корабль «Галеб» («Чайка»). На его борту Тито провел в общей сложности 564 дня, преодолев 86 тысяч морских миль, посетив десятки государств. Маршал не любил путешествовать на самолетах, по стране разъезжал на специальном «голубом поезде» и не скрывал страсти к морским прогулкам.

«Галеб» построен в 1936 году на верфи в Генуе как судно для перевозки южных фруктов. Через три года переоборудован в минный тральщик и вошел в состав ВМФ Германии. В 1944 году затоплен авиацией союзников в акватории Риекского порта. После окончания войны судно подняли со дна, а потом перестроили на верфи в Пуле в учебный легковооруженный корабль. Длина «Галеба» — 118 метров, водоизмещение — 5100 тонн. Корабль рассчитан на триста членов экипажа и пассажиров, располагает двумя ресторанами, пекарней, несколькими салонами для отдыха и приемов с роскошным интерьером, а также небольшой клиникой.

Впервые на палубу «Галеба» Тито поднялся в 1953 году, чтобы по приглашению Уинстона Черчилля совершить визит в Великобританию. Визит прошел с большой пышностью: в водах Средиземного моря «Чайку» эскортировал конвой югославского ВМФ, а в Гибралтарском проливе встретил британский почетный караул: три эсминца, три авианосца и почти 80 военных самолетов. Маршал, естественно, был весь в белом. Ради морских путешествий Иосип Броз не стеснялся покидать родину на три-четыре недели, оставляя «на хозяйстве» приближенных, и никаких сомнений в стабильности ситуации в своей стране у него не возникало. Самое долгое путешествие на «Галебе» маршал совершил в 1958 году: за

97 суток корабль посетил десяток азиатских и африканских портов, причем, чтобы было не скучно, Тито пригласил на борт еще и духовой оркестр. Последний раз Тито прогулялся на «Чайке» за несколько месяцев до смерти, в 1979 году, — от архипелага Бриюни до порта Задар.

В течение десяти лет после смерти своего знаменитого пассажира «Галеб» использовался Югославской военно-морской академией в качестве учебного корабля. Затем югославская армия, в чьей собственности находился «Галеб», передала его правительству Черногории в обмен на квартиры для семей военных. Несколько раз новые владельцы пытались продать корабль, но безуспешно. Наконец летом 2000 года «Галеб» за 750 тысяч долларов приобрел греческий бизнесмен Джон Пол Папаниколау, который вознамерился превратить плавучую резиденцию Тито в туристическое судно класса «люкс», слегка изменив название — на «Галеб Т». С большим трудом, с помощью буксира, одряхлевший «Галеб» добрался до хорватского порта Риека, где встал на ремонт. «Корабль не имеет никакой коммерческой цены, — заверил представитель местной судоверфи. — Это просто гора железа, в которую за последние десять лет не вложили ни гроша».

И в середине девяностых годов, и пятилетием позже за новостями о продаже «Галеба» внимательно следили во всей бывшей Югославии. Везде, кроме Белграда и Подгорицы, сделку посчитали незаконной, поскольку корабль когда-то считался федеральным имуществом, а договора о принципах раздела такой собственности республики к тому времени еще не достигли. Но сожаления относительно того, что вместе с «Галебом» от берегов Адриатики отшвартуется еще один кусочек общего прошлого, не выражал

почти никто. Робкие призывы ветеранов-титовцев создать на корабле плавучий музей услышаны не были. Второго крейсера «Аврора» из «Галеба» не получилось.

Позапрошлый вождь

В памятной книге посетителей в белградском Доме цветов, где покоится прах Тито, кто-то написал: «Добрые времена давно прошли. Как бы ты пережил нынешние?!». Буквы на могильном камне, которые считались вылитыми из чистого золота, слегка облупились и потрескались, как простая пластмасса. У мраморной могильной плиты на какое-то время уложили осколок натовской ракеты, которая в 99-м году разрушила бывшую резиденцию маршала, разорвавшись в сотне метров от места его погребения. Почетный караул, простоявший после смерти Тито у могилы 12 лет, давно снят. Не цветут и любимые вождем розы — тех, кто пришел поклониться памяти маршала, встречают два ряда слегка пожухлой травы. Цветы в зимнем саду вымерзли еще во время боснийской войны.

Дом цветов для товарища Тито построили в 1974 году, чтобы маршал мог спокойно работать и в тишине отдыхать. В окружающих гробницу застекленных салонах сейчас располагается архив и кабинеты администрации, а могильный камень установлен на месте фонтана. Тито похоронили здесь согласно его воле, хотя часть родственников настаивала на том, чтоб останки маршала перевезли в его родную деревню Кумровец на границе Хорватии и Словении.

В 1982 году в Доме цветов и музейном комплексе по адресу Ужичка улица, 11/15 (резиденции маршала,

охотничий домик, бильярдная, тенистый парк), открыли мемориальный центр «Иосип Броз Тито», исправно функционировавший до той поры, пока в стране не разгорелись дискуссии об отношении к недавнему прошлому. Как убеждена белградский искусствовед Ирена Субботич, посвященный товарищу Тито музейный комплекс был уникальным: в мировой практике, по ее словам, нет других примеров столь детального фактографического рассказа об одной исторической личности. 200 тысяч экспонатов мемориального титовского центра объединялись в 16 музейных экспозиций. Особого внимания заслуживала коллекция подарков, которую маршал получил от своих коллег-знаменитостей со всего мира. Кавалерийскую саблю с инкрустированным бриллиантами эфесом подарил Тито Иосиф Сталин («за заслуги в борьбе против фашизма»), бронзовый шлем VII века до нашей эры — греческий король Павел, деталь античной мозаики — владетель «Фиата» Джованни Аньели, золотой кофейный сервиз — Патриарх Московский и всея Руси Алексей II.

В начале девяностых годов работники мемориального центра произвели инвентаризацию накопленного маршалом и во имя маршала: в археологической коллекции числилось 112 экспонатов, в арсенале старинного оружия — 177 «клинков и стволов», в собрании художественных полотен — 3886 картин и рисунков. На Ужичкой улице хранились все 106 (!) орденов, медалей и других государственных наград, которыми отмечен боевой и трудовой путь Иосипа Броз.

Мемориальный центр упразднили в 1996 году, его территорию перегородили забором, по одну сторону от которого в бывших резиденциях маршала проживал президент Милошевич, а по другую остался Дом цветов и музейные здания. Часть экспонатов отпра-

вили в запасники, другие поместили в государственных учреждениях, кое-что бесследно исчезло (в том числе привезенный Тито советскими друзьями лунный камень и многие личные вещи маршала). В бывшем музее «25 мая» (теперь — Музей истории Югославии), который город Белград подарил вождю к 75-летнему юбилею, нет больше ни одного портрета маршала. Фонтаны перед музеем засорились и заросли зеленью, а в самом здании в конце девяностых годов разместилась экспозиция «Как убивали свободную страну», посвященная натовским бомбардировкам Югославии.

В 1990 году ячейка Социал-демократической партии в селе Кумровец выступила с инициативой возвращения останков маршала на родину. Как рассказывает Джованни Броз, хозяин пивной «У старика» (он же — заместитель председателя общества «Иосип Броз Тито»), решительнее всех против этой инициативы возражала вдова президента.

В семидесятые годы село Кумровец целиком превратили в этнографический музей крестьянского быта, а бывших односельчан вождя сделали подобием живых экспонатов. Впрочем, никто этому не противился: бедная прежде деревня стала образцовым социалистическим поселением. Старые дома отремонтировали, привели в порядок дороги и хозяйственные постройки — в соответствии с пожеланиями Тито. Сохранились воспоминания хорватского писателя Мирослава Крлежи о том, что рассказывал ему Тито об одной из своих конспиративных поездок в Кумровец в конце тридцатых годов: «Темнота, настоящая, провинциальная темнота, с ленивым лаем собак, встревоженных появлением чужака. В этом селе, кажется, не спят только собаки и жандармы... Нет бензина, нет света, нет масла, нет соли, нет ничего. Один только кошачий запах да вонь гниющих листьев...»

Сейчас Тито, наверное, был бы доволен тем, как выглядит Кумровец: есть и свет, и асфальт, и бензин. Хватает и уважения к прошлому. Рядом с домом родителей Броза — бронзовый памятник работы загребского скульптора Антуна Августинчича: суровый партизанский командир в распахнутой шинели, сцепив руки за спиной и упрямо склонив голову, шагает в будущее.

За десятилетия после смерти Тито в Кумровце мало что изменилось. Рядом с домом, где он родился, правда, воткнули в землю хорватский флаг, а из музейной экспозиции изъяли громадную карту мира со схемой многочисленных путешествий югославского лидера по свету. В эпоху Франьо Туджмана, которого мало кто и мало куда приглашал, такая карта и впрямь смотрелась бы вызывающе. Пустует просторное здание Высшей партийной школы «Иосип Броз Тито», в которой постигали принципы самоуправляемого социализма молодые партфункционеры. В девяностые годы комплекс передали на баланс МВД Хорватии. Растрескались мозаичные плитки фонтана «Источник радости», выложенные югославской ребятней в подарок общему дедушке.

Теперь на скамейках у этого фонтана отдыхают только туристы, которых в Кумровце становится все больше. В образе вождя сербы и хорваты обнаруживают новое благородство, по мере того как выясняется, что сменившие Тито у власти политики как государственные деятели, да и как личности не в силах тягаться с маршалом. Вот цитаты из двух политических еженедельников — белградского и загребского. Журнал «Време», Югославия: «Приходится говорить об иронии истории, потому что этот полухорват-полусловенец, абсолютный аутсайдер из крестьянского хорватского Загорья для сербов и Сербии, похоже, сделал больше, чем Неманьичи, Обреновичи и Кара-

георгиевичи, вместе взятые». Журнал «Глобус», Хорватия: «После Тито и другие государственные деятели пытались управлять страной его методами. В первую очередь это Франьо Туджман и Слободан Милошевич. Но первый смог позаимствовать у Тито только любовь к роскоши, белую военную форму и страсть к тайным службам, а второй — лишь жестокие расправы с политическими противниками, мастерство во фракционной борьбе и грубость по отношению к международному сообществу».

Политические гонения и лагеря, лишения и вынужденная эмиграция — все это было уделом югославских диссидентов, которые не хотели мириться с диктатурой Тито и его политикой «братства и единства». Но теперь в большинстве постюгославских республик Тито вспоминают без злости, а кое-где, в основном в Черногории и Боснии и Герцеговине, портреты маршала еще можно увидеть и на стенах служебных кабинетов, и в частных домах. Прекращена дискуссия о том, нужно ли давать новые названия носящим имя маршала улицам и стоит ли сносить воздвигнутые в его честь монументы. Вот и стоят памятники Тито, вот и гуляют мамы с детьми по «титовским» улицам и площадям.

Маршал вернулся в народную память. Может быть, потому, что для всей разоренной страны он теперь стал «позапрошлым вождем» — ведь жестокой критике подвергается обычно лишь действующая или только что свергнутая власть. Портреты маршала появились даже на рекламных плакатах. «В Словении мой дедушка теперь на автострадах рекламирует автомобиль “Мерседес-бенц”, — сообщила внучка вождя Александра Броз. — Кроме моего деда на рекламных плакатах можно увидеть фигуры Наполеона и певицы Марии Каллас». А вот товарищ Тито на другом рекламном плакате: в форме морского офицера, за штур-

валом любимого «Галеба». Но прославляет маршал не славу и мощь военно-морского флота, а продукцию старейшего в бывшей Югославии мясоперерабатывающего комбината «Гаврилович» из города Петринья («Первая хорватская фабрика салями и копченого мяса Мате Гавриловича и потомков»). «Соблюдать тысячу тайных деталей, как предписывает традиция, — значит создавать уникальный вкус, известный всем», — гласит надпись на постере, удостоверяющая, что петриньская колбаса «поставлялась на кухню яхты “Галеб” с 1956 года». А этим надо гордиться, ведь известно, что Тито, как ни относишься к его политическому наследию, знал толк в гастрономических удовольствиях.

В начале девяностых годов Петринья превратилась в один из оплотов сербского сепаратизма в Западной Славонии. Последний «предвоенный» директор мясокомбината Борислав Микелич стал премьер-министром самопровозглашенной Республики Сербская Краина (в загребских газетах его только и называли издевательски: «мясник из Петриньи»). Знаменитую фабрику в ходе боевых действий сильно разрушили. Я побывал в Петринье весной 1995 года, через несколько дней после восстановления в Западной Славонии хорватской власти. Комбинат пребывал в полнейшем запустении, оборудование разломали, а единственными «мясопереработчиками» оказались два бойца из украинского миротворческого контингента, во вполне антисанитарных условиях заготавливавшие ворованную, видимо, баранину для батальонной кухни. И представить себе, что через каких-нибудь пять лет социалистический маршал станет рекламным символом фабрики «Гаврилович», казалось невозможным...

В мае 2000 года, за несколько месяцев до падения режима Слободана Милошевича, вся уже несуществующая Югославия, страна «от Вардара до Триглава»,

без особой помпы, но на удивление дружно поминала вождя по случаю 20-летия его кончины. Словно знала: совсем скоро обрушатся последние пилоны империи Тито. В Кумровец, не изменяя ежегодной традиции, съехались ветераны-коммунисты и старые партизаны со всей бывшей федерации. Возложили цветы к памятнику шагающему командиру, вспомнили былые победы и в сопровождении очень неплохого местного хора спели песни военных лет.

Такие песни звучат и в фильме хорватского режиссера Винко Брешана «Маршал». На острове Вис, где когда-то располагался штаб партизанской армии, вдруг объявляется дух Тито — грозный старик в парадной шинели бродит по ночам, пугая местных жителей. Дух оказывается вполне земным явлением — пациентом психиатрической клиники, вообразившим себя маршалом. Но весть о воскрешении вождя живет своей жизнью, на остров съезжаются ветераны-однопольчане Тито, чтобы вернуться в молодость и приступить к строительству светлого будущего. «Дух вождя» ранним утром садится в лодку без весел, и морское течение медленно уносит его, одинокого старца в маршальской шинели, навстречу восходящему солнцу...

Перед дождем



Миф об открытом
кинопространстве

Мы будем рассказывать нашим детям и нашим внукам бесконечную сказку с одним и тем же началом: «Жила-была одна страна...»

Йован из фильма «Подполье»

Памятникам не нужно верить

Видеопрокат «Зета-фильм» в самом центре Белграда предлагает посетителям больше трехсот фильмов «домашнего», как указано в каталоге, производства. В мире кино старая Югославия все еще существует: в список «Зета-фильма» внесены и хорватские, и македонские, и боснийские ленты, в том числе и те, что сняты в девяностые годы, уже после распада федерации. Отчасти составители каталога правы: страны нет, но сохранилась киношкола, выпускники которой пестуют традиции минувших лет: партизанских киноэпопей эпохи соцреализма, диссидентской «черной волны» и всегда актуальной в этих краях абсурдистской комедии. Последний жанр, кстати, только и может хоть как-то объяснить все то, что случилось на западе Балкан в последнее десятилетие двадцатого века.

Кинодержавой европейского класса Югославия никогда не считалась. Зато южная природа, восхитительное морское побережье, квалифицированная и дешевая рабочая сила привлекали в Белград и Загреб на студии «Авала-фильм» и «Ядран-фильм» режиссеров из-за границы, в том числе, естественно, и советских друзей. Одно из моих детских воспоминаний — лицо грустного клоуна Леонида Енгибарова из старого советско-югославского детектива «Попутного ветра», «Си-

няя птица”!». С палубы этой «Синей птицы» (на самом деле — учебного корабля югославских ВМФ «Ядран») четверть века спустя я любовался красотами Которского залива. А символ киностудии, телебашню на горе Авала к северу от Белграда, повалила в дни югославно-наатовской войны крылатая ракета.

Югославия не была кинодержавой европейского класса, и страну прославляли одиночки. Широкой публике известны по крайней мере два имени: Душан Макавеев и Эмир Кустурица.

Душан Макавеев, отпущенный властями в творческую эмиграцию за границу, прославился в начале 70-х годов, после выхода на экраны фильма «Вильгельм Райх: мистерии организма». Тему для режиссера из социалистической страны Макавеев выбрал самую что ни на есть запретную: сексуальная свобода и сексуальная революция, одним из символов которых стал американский ученый немецкого происхождения Вильгельм Райх. Избранные Макавеевым манера съемок и логика монтажа с трудом поддаются объяснению. Буquet жанров и форм столь же пестр, сколь нетрадиционна теория Райха, считавшего рак и другие тяжелые болезни следствием отторжения человеком внутренних потребностей. «Проповедуя социальный протест, этот человек пытался внести в него философию любви, а потому именно он первым произнес слова “сексуальная революция”», — объяснял мне характер Райха Душан Макавеев. Кинофилософия Макавеева, как следует из его фильмов, — постмодернизм, он не случайно восхищается работами мастерской Энди Уорхола.

В Советском Союзе «Мистерии организма» и другие работы Макавеева были запрещены, а сам он считался настоящим кинодьяволом, объединившим в своем неприличном творчестве порнографию и антикоммунизм. Вот как вспоминает «те» времена московский кинокритик Андрей Плахов: «Макавеев, не-

смотря ни на что, стал самым притягательным мифом для советских киноманов, стопроцентно легендарной фигурой, о которой ничего не было известно, кроме его крайней вредоносности. Даже имя Душан, казалось, пахло пороком».

Чего-чего, а порока в фильмах Макавеева хватает. Историки кино, например, считают исключительно удачной эротическую сцену из его картины «Сладкий фильм» (1974 г.), в которой обнаженные герои купаются в расплавленном шоколаде. В «Сладком фильме» сцены из жизни победительницы конкурса красоты, вышедшей замуж за миллионера, чередуются со съемками оргий на корабле, который плывет по амстердамским каналам, а также фрагментами из немецкого пропагандистского фильма «В Катынском лесу». А в «Мистериях организма» Макавеев пошел еще дальше: под звуки песни Булата Окуджавы герой фильма, чемпион по фигурному катанию по имени Владимир Ильич, отрезает голову своей возлюбленной, а эта отрезанная голова с улыбкой говорит: я ни о чем не жалею и по-прежнему влюблена. Отделенная от туловища голова появилась и в другом фильме Макавеева. В картину «Горилла купается в полдень» режиссер включил документальные кадры демонтажа памятника Ленину в Берлине. С гранитного Владимира Ильича тоже снимают голову. И Ленин тоже мудро улыбается.

Во многих фильмах Макавеева звучат русская музыка и русская речь, у многих его героев — русские имена и русские характеры. Персонаж из «Мистерий организма» — фигурист из России, в «Сладком фильме» действует матрос Потемкин, в «Манифесте» декламируют стихи Маяковского, а главный персонаж ленты «Горилла купается в полдень» — случайно оставшийся в Восточной Германии после вывода советских войск офицер Лазуткин. Одна из причин столь пристального внимания к России и русскому —

взаимозависимость славянских языков, культур, истории, которая Макавееву кажется абсолютной. Другая причина в том, что именно советское тоталитарное сознание в самых разных проявлениях стало для Макавеева главным объектом исследования: «Яблоко остается яблоком и в период оккупации, но человек, который это яблоко ест, — другой. Он не может свободно дышать».

Макавеев справедливо считает себя борцом против тоталитарной системы, его фильмы полны гротескных антисоветских образов, но главный смысл многих работ этого режиссера — в попытке установить связь между сексом и политикой, политической диктатурой. Любовь к власти Макавеев рассматривает как сублимацию сексуальной энергии: «Первое, что делает человек, когда оказывается в конфронтации с тоталитаризмом, — проявляет чувство юмора, — говорит режиссер. — Тоталитаризм не понимает юмора, не понимает жизни. Тоталитаризм воспринимает секс, поскольку сексом можно злоупотреблять и использовать его как средство насилия, но речь идет о сексе, в котором есть некое механическое удовлетворение, но нет настоящего человеческого влечения... А юмор разрушает тоталитаризм. Юмор разрушил Советский Союз и, к сожалению, разрушил Югославию. Тоталитарное сознание — это сознание слишком серьезных людей, которые считают, что, получив власть, они всего добились».

Макавеев — режиссер со своим видением мира; режиссер, страдающий сексуальными комплексами; режиссер, творчество которого сохраняло актуальность только в пору великого идеологического противостояния. Прав белградский киновед Слободан Новакович: «Макавеев разрушил мифы социалистической политики, но запреты, против которых он боролся, сейчас уже отменены, а общественная атмос-

фера, в которой его протест был своевременным, разрушена».

Макавеев, как понятно даже из этого короткого очерка, любит символы. Символом его творчество открывалось — символом и завершилось. Первая студенческая киноработа Макавеева, любительский документальный фильм, называется «Памятникам не нужно верить». В последней своей полнометражной картине «Горилла купается в полдень» Макавеев рассчитался с памятником Ленину. За четверть века работы в кино веры в монументы у него не прибавилось.

Как раз в ту пору, когда звезда Макавеева закатилась, знатоки кино заговорили о другом югославском таланте, Эмире Кустурице. Кустурица — югослав в полном смысле этого слова, ребенок от сербско-мусульманского брака, выросший в Сараеве, городе, в шестидесятые—семидесятые годы считавшемся столицей балканской контркультуры. Вместе с Кустурицей в югославское кино пришли новые времена — с модой на фольклорные мотивы. И когда на кинофестивале в Венеции в 1981 году никому не известный тридцатилетний режиссер получил премию за лучший дебют (фильм «Ты помнишь Долли Белл?»), он тут же сам стал символом свежих веяний, каплей дикой балканской крови в венах европейского кино. Быстро, к концу того же десятилетия, Кустурица превратился в живого классика, утвердив этот статус в Каннах в 85-м году: «Пальмовая ветвь» за фильм «Папа в командировке». «Свежесть мысли», — коротко объяснил мне причины шумного успеха Кустурицы сценарист двух его первых картин, сараевский литератор Абдула Сидран.

Фильмы Кустурицы строго делят зрительский мир на почитателей таланта этого режиссера и его жестких критиков, причем первым никогда не договориться со вторыми. Тот же Сидран наотрез отказался

обсуждать со мной самую знаменитую работу Кустурицы «Подполье», поскольку к моменту нашего разговора, состоявшегося вскоре после окончания войны в Боснии, относился к своему прежнему партнеру (сделавшему, кстати, и его тоже знаменитым) едва ли не с ненавистью. В Боснии Кустурицу считают предателем национальной идеи, покинувшим родину в трудный час и променявшим блокадное Сараево на роскошный Париж. В Белграде многие считают, что прославленный режиссер — всего лишь удачливый ремесленник, торговец народным фольклором и народной бедой, да и в Хорватии и Словении к оценке его творчества примешивается политика. Уж слишком навязчиво Кустурица монтирует в «Подполье» кадры фашистских авиабомбежек югославской столицы в апреле 41-го с документальными сценами вступления в Марибор и Загреб войск вермахта, которых восторженно приветствуют горожане. А мастерство, с каким снята сцена бомбежки белградского зоопарка, во многом и принесло Кустурице главный приз кинофестиваля в Каннах в 1995 году, второй в карьере.

Пик популярности Кустурицы пришелся как раз на разгар югославского кризиса. В «Подполье» он удачно эксплуатирует политический момент, но, что бы ни говорили, делает это талантливо. История в буквальном смысле слова ушедшего под землю антифашистского отряда, просидевшего в подвале целые десятилетия и «перескочившего» из одной войны прямоком в другую, — это и есть кустурицына история Югославии. Недовольным таким объяснением прошлого и настоящего критикам Кустурица отвечал следующее: «Об истории нельзя рассказывать в жанре, взятом из журнала мод: что вы скажете о фирме “Бенеттон”, продающей майки, рисунки на которых стилизованы под пролитую кровь? Если вы хотите сохранить достоинство, создайте некую зону ответ-

ственности, которая позволяла бы бороться с самим собой, а не низводить трагедию до уровня фарса».

«Весь коммунизм — сплошное подполье», — говорит один из героев фильма, но и то, что наступает после коммунизма, оказывается не лучше. Снова отдает команду стрелять из пушек по очередному врагу нестигаемый командир Черный, и на этой войне тоже спекулирует оружием хитрый Марко Дрек, и здесь актриса Наталья с успехом продает свою бессовестную красоту. «Мы будем рассказывать нашим детям и нашим внукам бесконечную сказку с одним и тем же началом: “Жила-была одна страна”», — подводит итог режиссерским страданиям невзрослеющий мальчишка Йован, повесившийся оттого, что, выйдя из подполья спустя полвека, он обнаружил: Югославии больше нет. Эта Югославия вместе с мертвыми-воскресшими героями фильма, вместе с безумным духовым оркестром растворяется в тумане. Растворяется также в буквальном смысле: отрывается от берега Дуная и уплывает в мутную мглу...

Утешением для тех, кто не является поклонником Кустурицы, послужило то обстоятельство, что знаменитым он стал только по одну сторону Атлантики. Голливудский мегапроект Кустурицы, фильм «Сны Аризоны», если и не провалился, то и успехом не увенчался. Вскоре Кустурица заявил: «В Голливуде уже никого не волнует кино само по себе, важно только, с какой мощью снят фильм и какие деньги на него потрачены. В Америке полно прекрасных сценаристов, но их тексты режиссеры используют крайне слабо...»

«Поход за океан» триумфом не стал. Зато «Сны Аризоны» сделали звездой мировой рок-музыки сараевского композитора Горана Бреговича, написавшего саундтрек к картине. Кустурица, в юности сам баловавшийся роком (он играл на бас-гитаре в панк-ансамбле «Курить воспрещается»), с симпатией отно-

сился к лидеру самой знаменитой югославской группы «Бьело дугме» («Белая пуговица») Бреговичу. Почти ровесники, Брегович и Кустурица сотрудничали в кино целое десятилетие (помимо «Снов Аризоны» — «Время цыган» и «Подполье»), пока не разругались, после чего Кустурица вернулся к старым друзьям: в 97-м году музыку к его фильму «Черная кошка, белый кот» писал Неле Карайлич из «Курить воспрещается». А Брегович дальше ковал успех самостоятельно: работал с признанными европейскими и голливудскими мастерами («Королева Марго», «Дом для виселицы»), а потом организовал международный «Оркестр для игры на свадьбах и похоронах», который гастролирует с аранжированной балканской музыкой по мировым столицам.

В феврале 2001 года группа «Курить воспрещается» приехала на гастроли в Москву. Вернее, в Москву вместе со своими друзьями приехал знаменитый Эмир Кустурица — он же музыкант-любитель, решивший вспомнить молодость. В концертном зале «Россия» и нескольких столичных ночных клубах группа «Курить воспрещается» (в экспортном варианте: «Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra») играла сумасшедший балканский и безудержный цыганский рок-н-ролл. Попытка возвращения в прошлое показалась интересной преимущественно тем, кто знает, зачем и почему мэтр, которому вдруг надоело снимать кино, решил снова выйти на сцену. Причем выйти не один раз — с 98-го года Кустурица на любительской кинокамере «Супер—8» снимал о своей рок-группе документальный фильм под названием «Истории кинокамеры “Супер—8”». В фильме о самом себе и собственной музыке Кустурица проповедует «варварскую креативность»: музыканты по ходу концертов пьют, курят и матерятся с такой же легкостью, с какой занимаются поиском нестандартных творческих решений. Такой «скрытый национализм» сильно раздражает, например, моих знакомых-хорватов. Только посмотри на этих сербов, говорят они, Ку-

стурица прямо-таки упивается своей исключительностью: да, мы, сербы — «от сохи», Европе нас не понять, но какая же мощь, какая энергетика скрыта в душе этой обездоленной нации!

Когда-то группа «Куриль воспрещается» считалась знаменем югославской контркультуры, но, как понятно сейчас, еще в большей мере, как и фильмы Кустурицы, была общегославским мифом, поскольку на рок-сцену вместе выходили сербы, хорваты и мусульмане. Стиль несложных музыкальных рассказов «Куриль воспрещается» получил название «новый примитивизм». Этот насмешливый стиль точно отражал жизнь страны: героями песен становились обычные люди с улицы — полицейский Мурга, рабочий-ударник Авдия, городские дурачки Пишонья и Жуга. В начале девяностых годов, когда разразилась война, группа распалась, но вскоре возродилась сразу в двух городах — несколько музыкантов отправились в Загреб, а сербов увез в Белград Ненад Янкович, по прозвищу Доктор Неле Карайлич. «Где теперь ваши герои?» — спросил я однажды Доктора Неле. «Их больше нет, следы затерялись, — серьезно ответил обычно склонный к шуткам музыкант. — Наверное, их всех убили на войне».

Он прав, как прав и рассказчик не имеющих конца сказок Кустурица: «Жила-была одна страна...»

Рокерское прошлое не прошло для Кустурицы бесследно. Все его фильмы мелодичны и музыкальны, наполнены вкусным, громким звуком, не зря критики так часто используют при анализе его творчества музыкальные термины. Фильм «Подполье» получал и такие характеристики: «Рок-н-рольный концерт на фоне бомбежки», «Речь Черчилля, положенная на музыку “Секс пистолз”». По-другому оценил концепцию фильма белградский киновед Валентин Михалкович: для него «Подполье» — «шизоанализ режима».

Эмир Кустурица дважды отправлял в небо цыганский табор. За пять лет до «Подполья» и через четыре года после «Подполья» режиссер снял «народные» фильмы, целиком построенные на цыганском фольклоре. «Время цыган» и «Черная кошка, белый кот» (приз за режиссуру на кинофестивале в Венеции, 1998-й), удивительно схожие и по жанру, и по сюжету, словно два лубка, два кинобрата. Идея не нова: жизнь цыганского племени представляется режиссеру лучшей иллюстрацией действительности, где упорядоченность и система — только выдуманные для успокоения совести, но несуществующие понятия. Я как-то посмотрел оба «цыганских» фильма подряд, и в голове возникла цепочка слов-ассоциаций, да еще все эти слова начинались на одну и ту же букву: беспросветная нищета, безудержный оптимизм, безалаберность, бунтарство, беззлостное бахвальство, безыскусная ложь, беспардонность, бухающие литавры, бухающие барабаны, баловство, бравада, бесстыдство, беспрестанное балагурство, беготня. Бедлам. Беда. Бедолаги...

Цыганский мир Кустурицы столь подвижен, что нужен хоть какой-то гвоздь, за который зацепится эта вихляющаяся киноконструкция. Я выбрал лингвистический гвоздь, хотя несложно отыскать и какой-нибудь другой. Кустурица отлично чувствует себя в любом хаосе, музыкальном, кинематографическом или жизненном, существование «в рамках» ему неинтересно. Неслучайно к концу столетия в Европе мода на беспорядочные фильмы, конвертирующие цыганский или южнославянский фольклор на язык, понятный высоколобой кинопублике, испарилась вместе с рефлексией девяностых годов. Бесконечная балканская война всем надоела, как надоели ее столь же бесконечные интерпретации. Приелось воспевание бродяжничества и уродства — пьяная нишья свобода; пиджак на голое грязное тело; редкие, словно у лоша-

ди, зубы; дорога как смысл жизни... Хватит: популярны теперь не байки из чужой народной жизни, а интеллектуальные триллеры вроде «Магнолии» или «Мементо».

Но Эмир Кустурица такого кино не снимает.

Югослав — Большой Змей

Гойко Митич — Большой Змей не случайно прославился именно в ГДР. Романтика противостояния благородных краснокожих и коварных бледнолицых, которой не чужды подростки всего мира, на немецкой земле стало почти всенародным хобби, особенно в той ее части, которая строила «реальный социализм». И в Западной, и в Восточной Германии в 60-е годы увлечение романами Карла Мая приобрело характер эпидемии, и на это быстро отреагировал кинорынок. На западных экранах появились многочисленные истории про Виннету с Пьером Брисе в роли знаменитого вождя племени апачей и Лексом Баркером — Верной Рукой.

В 1965 году достойный ответ дала киностудия ДЕФА. В первом восточногерманском вестерне «Сыновья Большой Медведицы» роль вождя краснокожих сыграл студент Загребского университета и член олимпийской сборной Югославии по гребле черногорец Гойко Митич. Он и превратился в главного индейца социалистического содружества. Своим появлением на экране Митич обязан тогдашнему идеологическому противостоянию Востока и Запада. Ведь в ГДР даже имя Карла Мая приходилось долгое время скрывать (считалось, что он был любимым писателем Гитлера). Отношение к Карлу Маю в партийном Берлине изменилось только в 80-е годы, когда, убедившись в тщетности попыток уничтожить индейских народных любимцев, власти объявили писателя «бор-

цом против американской политики разбоя» и на его родине в городке Радебойль открыли дом-музей.

Но все-таки дело не в писателе и не в сценарии. Дело в том, что ни мускульной фактурой, ни статью, ни пышностью шевелюры, ни решительностью орлиного взгляда Митич не уступал западному коллеге Брисе. А амплуа Митича оказалось куда более разнообразным. Он создал собирательный двенадцатисерийный образ индейца: сыграл роли вождя могикан Чингачгука — Большого Змея, вождя племени дакота Зоркого Сокола, вождя семинолов Оцеолу, вождя апачей Ульзану, а также не столь знаменитых предводителей племен сиу и мансанеро.

Сближало фильмы, создававшиеся по разные стороны Берлинской стены, не только сходство сюжетных линий, но и то, что снимались эти картины часто почти в одних и тех же местах на юго-востоке Европы. Прерии, по которым скакал Виннету, на самом деле были каменистыми нагорьями Западной Герцеговины, а водопады, в которые вождь нырял, находились в Хорватии (национальный парк «Плитвицкие озера»). В крытых или природных павильонах студии «Ядранфильм» создавались лучшие западногерманские вестерны: помимо эпопеи о Виннету, это серия фильмов о Файерхенде и Старом Шеттерхенде — Твердой Руке. В середине девяностых годов не утративший с возрастом гордой осанки вождя Пьер Брисе вновь прокатился по местам былой славы: в охваченную войной Боснию и Герцеговину он привез караван с гуманитарным грузом под названием «Виннету».

Гойко Митич оставался неизменным элементом всех восточногерманских киноисторий про индейцев. Помню подзаголовок статьи из журнала «Советское кино» середины семидесятых годов: «Названия фильмов не имеют значения. В любом из них — Гойко Митич в великолепной спортивной форме». Злодеев, белокурых красоток и бледнолицую массовку играли

немецкие актеры, а рядовых индейцев изображали темноволосые статисты на полях и холмах Хорватии, Боснии, Болгарии, Румынии и даже Монголии (с участием «Монгол-кино» создавался последний фильм цикла — «Северино», 1983 г.). В некоторых кинопраздниках принимал участие и «Мосфильм», если съемки проходили в Крыму или в Средней Азии.

Любопытно, что в самой Югославии Гойко Митич не считался кинозвездой. О его актерском таланте отзываются пренебрежительно, а хорватская и сербская детвора даже в те годы, когда индейская слава Митича сияла как солнце, предпочитала играть не «в Ульзану», а в партизанских героев Славко и Мирко. В Праге, Варшаве, Берлине или Дрездене до сих пор избранное из киноэпопеи Гойко Митича легко можно приобрести в любом супермаркете; зато ни в Белграде, ни в Загребе, ни в Сараеве этих фильмов не найти. Кстати, нет картин про индейцев и в каталоге «Зета-фильма». Может быть, поэтому Гойко Митича на родине вспоминают редко. Его популярность сохранила тевтонский характер: вместо постаревшего Пьера Брисе Митич, до сих пор живущий в Берлине, исполняет роль Виннету на ежегодном фестивале Карла Мая в городе Баг-Зегесберг. Хотя и с большим опозданием, Виннету и Ульзана, Пьер Брисе и Гойко Митич, все же стали братьями по крови...

Красивые деревни красиво горят

Достижением номер один кинематографии титовской Югославии считается фильм «Битва на Неретве», снятый в конце шестидесятых годов хорватским режиссером Велько Булаичем. К созданию кинопо-

вести о гитлеровском наступлении на партизан в Западной Боснии Булаич привлек шестьдесят зарубежных и отечественных кинозвезд, шесть тысяч статистов — солдат Югославской народной армии, 75 танков и бронетранспортеров, 22 самолета, 380 пулеметов. При съемках батальных сцен взорвано две тысячи боевых артиллерийских зарядов и десять тонн тротила. «Против такого войска и НАТО не имела бы шансов», — с горькой иронией заметил обозреватель белградского еженедельника «Време» в публикации, посвященной тридцатилетию выхода «Битвы на Неретве» на экран.

Шестидесятые годы — золотая эпоха социалистического реализма в югославском кино. Государство тогда не скупилось на реализацию посвященных ратным подвигам пропагандистских проектов — «партизанских фильмов». Не слишком отличались друг от друга и названия этих картин, обычно обозначавшие места великих побед или приведших к победам поражений армий Тито: «Марш на Дрину», «Ужицкая республика», «Десант на Дрвар», «Игманский марш», «Козара», «Сутьеска». На этом наследии отцов и дедов как следует и потоптался Эмир Кустурица в «Подполье».

«Битва на Неретве» — вершина гигантской югославской киногоры. Благословение на съемки циклопического фильма о «правде сражений» дал сам маршал, и создатели эпопеи ни в чем не знали отказа. Даже телефонные счета членов творческой группы оплачивала гостиница «Босна» в Сараеве, поскольку ее директор вовремя и верно понял поданный из Белграда партийный сигнал. Строительные фирмы боролись за почетное право возвести 82-метровый мост через реку Неретву, который в итоге согласно сценарию и правде истории был подорван и рухнул в голубые воды. Исполнение главных ролей Булаич поручил звездам мирового кино: командира титовской

артиллерии Мартина сыграл похожий на Пьера Безухова Сергей Бондарчук, а умирающего от тифа молодого партизана — Олег Видов с томными глазами Мориса-мустангера. В съемках были заняты Юл Бриннер (главный немецкий генерал), Орсон Уэлс (командир отряда четников), Франко Неро (разочаровавшийся в фашистских идеях капитан итальянской армии), а также многие знаменитые тогда и теперь в Югославии артисты.

За новой битвой на Неретве лично следил главный покровитель югославских искусств. Товарищ Тито охотно встречался с киногруппой, периодически ужинал в творческой компании, причем иногда песни под духовой оркестр исполнял во время этих трапез сам Юл Бриннер. Просмотрев первые отснятые материалы, маршал сказал: «На войне не все было так, как в этом кино. Но авторы имеют право на творческое понимание реальности».

Это понимание реальности, естественно, в полной мере соответствовало тем задачам, которые Союз коммунистов Югославии ставил перед мастерами кино. Поэтому еще до окончания съемок эпопея «Битва на Неретве» была продана почти в 60 стран мира, а также номинирована на «Оскара». Югославия не пожалела денег даже на производство англоязычной версии картины, чтобы продемонстрировать фильм в США. Фрагмент саундтрека «Битвы на Неретве», композиция «Марш четников», на несколько лет стал эстрадным хитом. В семидесятые годы многие югославские режиссеры пытались повторить киноподвиг Велько Булаича, однако никому не удалось даже приблизиться к масштабам его творения. Зато в Москве проявили беспокойство по поводу «балканской гигантомании», и вскоре Юрий Озеров снял самый длинный в истории мирового кино художественный фильм о войне, многосерийную эпопею «Освобождение».

«Битва на Неретве» стала югославской легендой. Эта легенда прожила в стране маршала Тито такую красивую и беспроблемную жизнь, что Велько Булаич не избежал соблазна самоповтора. В середине девяностых годов в Боснии возникла идея снять на западные деньги эпический фильм о только что завершившейся войне. Драма «Сараево» о жизни в осажденном сербами городе замышлялась как первый торжественный национальный кинопроект. Естественным образом при поиске кандидата в режиссеры всплыло имя Велько Булаича — решили, что только мэтру под силу создать запоминающееся батальное полотно. Но прославиться вновь Булаичу не удалось: вначале против его кандидатуры выступили патриотически настроенные сараевские интеллектуалы, которых не устроили национальность режиссера и его былая близость к социалистическим властям, а затем выяснилось, что и денег-то на съемки никто отряжать не собирается.

Войны, новая и старая, естественно, стали главной темой постюгославского кинематографа последних лет. Один из лучших фильмов на эту главную тему снял режиссер из Македонии Милчо Манчевски. Его лента «Перед дождем» (1994 г., англо-американско-македонская копродукция) удостоилась «Золотого льва» на венецианском кинофестивале и была номинирована на «Оскара» (который, кстати, получила тогда картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем»). Главную роль обласканного международными наградами военного фоторепортера Александра Киркова сыграл сербский актер из Загреба Раде Шербеджия, один из немногих «югославов», замеченных в Голливуде. Манчевски красиво рассказывает медленную, тягучую историю, действие которой развивается то в балканских горах и долинах, то в Лондоне. Албанскую девушку Замиру спасает в православном монастыре от мести жаждущих крови односельчан-сла-

вян молодой инок. Его изгоняют из обители; но жертва оказывается напрасной, Замиру убивает ее собственный брат.

«Ты вовремя приехал. Война словно вирус, кровь носится в воздухе. Желаю тебе приятной войны!» — говорит вернувшемуся на родину после пятнадцати лет скитаний знаменитому фотографу Александру его старый приятель, сельский доктор. Доктор ставит верный диагноз: подобно тому как сгущается атмосфера перед дождем, растет ощущение неизбежности трагедии. Параллели просты: перед дождем — значит накануне войны. Дождя ждешь весь фильм, но гроза разражается лишь после того, как проливается кровь. А от ливня не убежишь в открытом поле. Не уйти и от войны, уверен Манчевски, потому что она неизбежна, как дождь.

Ту же уверенность демонстрирует и автор фильма «Красивые деревни красиво горят» (1996 г.), белградский режиссер Срджан Драгоевич. Жанр этой киноленты, получившей несколько международных наград, Драгоевич определил как «военную трагикомедию». Что подтверждает обозреватель журнала «Вэрайети», так характеризующий фильм «Красивые деревни красиво горят»: «Куда более дикий в смысле черного юмора, чем знаменитый “М.А.С.Н.”, куда более смелый во взглядах на политику и войну, чем все картины Стенли Кубрика».

...Война разводит по разные стороны баррикады друзей детства — серба и боснийского мусульманина. В начале фильма Милан и Халил на спор — начнется война или нет? — играют в баскетбол. Победный бросок делает пессимист Милан, и югославский мир разваливается. Вот родной дом покидает семья старика-мусульманина, и к багажнику старенькой «Заставы» приторочен портрет Иосипа Тито. Вот банда пьяных сербских мародеров мчится на тракторе по вспаханному полю, а самый разудалый выбрасывает из при-

цепы зайцами прыгающие по земле баскетбольные мячи. Вот социалистические воспоминания: неуловимо похожий на маршала-вождя партфункционер открывает новую стройку — тоннель на горной дороге. Тоннель так и не достроили; в нем, как считали мальчишки из окрестных деревень, поселился злой дракон. Когда много лет спустя началась война, именно в этом тоннеле нашел укрытие сербский отряд капитана Максимовича. Милан сидит в тоннеле, а его бывший верный друг и нынешний смертельный враг Халил караулит в засаде. Драгоевич называет одну из причин балканского конфликта: дракона в тоннель войны посадил социализм товарища Тито. Но кто сделал дракона таким кровожадным?

Ответ ищет и Данис Танович, снявший самый громкий «постюгославский» фильм последнего времени — «Ничья земля». Дебютная работа живущего в Париже 32-летнего сараевского режиссера сначала собрала богатый урожай кинопризов в Европе, а потом несколько неожиданно получила «Оскар» как лучший неанглоязычный фильм года. В Сараеве Тановича носили на руках, местные журналы наперебой провозглашали его «человеком года». Наверное, еще и потому, что Танович — полная противоположность земляку Кустурице: абсолютно политкорректен, совершенно порядочен, очень осторожен в словах и поступках, да и во Францию уехал не во время войны, а после, отстрадав положенное.

...Несчастный человек лежит на спине на дне брошенного обеими армиями окопа и ждет смерти. Он знает, что спасения нет: под ним — противопехотная мина, механизм которой обезвредить невозможно. Рядом комически суетятся двое беспощадных врагов: серб и мусульманин, по логике военного абсурда оказавшиеся на одной боевой позиции, то берут друг друга в плен, то палят друг в друга, то хохочут, вспоминая общее прошлое. Еще абсурднее выглядят без-

душные иностранные миротворцы, еще беспомощнее — иностранные журналисты, устраивающие из трагедии шоу на весь мир. А человек лежит на ничьей земле и ждет смерти. И эта смерть неминуемо приходит. Данис Танович в течение полутора часов то более, то менее удачно балансирует на грани фарса и драмы, то более, то менее удачно подбирает ключи все к тому же замку: зачем война, почему война, для кого война, если война — бессмысленна?

Ждать ясного ответа — значит требовать невозможного. Знали бы они сами ответ, небось не воевали бы с такой ненавистью. Спасибо и Драгоевичу, и Тановичу, и Манчевски и на том, что в их фильмах хватает душевной боли, хватает точных жизненных деталей, «схватить» которые вряд ли в состоянии даже самый расталантившийся голливудский режиссер, знакомый с югославскими войнами по газетным заголовкам. Ведь вся западная кинопродукция о конфликте на Балканах («Спасатель», «Добро пожаловать в Сараево!», «В тылу врага» — не совсем плохие, кстати, фильмы) недостоверна в той же мере, в какой недостоверны, к примеру, американские или французские фильмы о России. Другая причина в том, что западное «кино про войну» — как правило, мелодрама. А хороших постюгославских режиссеров от этого жанра уберегает врожденное чувство черного юмора.

Но плохих режиссеров — не уберегает. Патриотический фильм хорвата Бранко Шмидта «Вуковар возвращается домой» (1994 г.), разрекламированный загребской пропагандой как шедевр мирового кино, выглядит не как драма, а как пародия на драму. Герои этой картины, хорватские беженцы из занятого сербами города Вуковар, живут только одной мыслью: как поскорее вернуться домой. Фильм от первого до последнего кадра выдержан в патетической манере, а заканчивается история тем, что хорватский мальчик Срджан, отец которого погиб на фронте, ведет в род-

ной, все еще оккупированный город железнодорожный состав. На ту же тему (только с противоположными выводами), в тот же год и примерно с тем же мастерством ленту под названием «Вуковар. До восстования» снял сербский режиссер Боро Драшкович.

Немногим лучше оказалась вышедшая на экраны в 1998 году киноэпопея Якова Седлара «В шеренгу по четыре». В основу сценария положен одноименный роман любимого тогдашним хорватским президентом писателя-государственника Ивана Аралицы. Фильм рассказывает о действительно трагическом эпизоде военной истории: «крестном пути» хорватских домобранов и усташей — пешем марше через всю территорию Югославии солдат, попавших в последние месяцы Второй мировой в плен и выданных западными правительствами титовским властям. Это преступление коммунистического режима, как казалось Туджману, каким-то образом «уравновешивало» военные злодеяния нацистов и усташей. Такой баланс якобы не только открывал перспективы «примирения нации», но и дополнительно разъяснял причины, по которым полвека спустя Хорватия принялась бороться за независимость. Только вот беда — фильм снят неважно.

Политические киномифы в последнее десятилетие, кстати, производились преимущественно в Загребе. Словенцы новую югославскую войну «своей» подчеркнуто не считали, так что и фильмов о событиях тех лет не снимали, у боснийских мусульман на проведение даже недорогих кинокампаний не хватало сил и средств. Самый заметный сербский идеологический кинопроект девяностых годов реализован по инициативе тогдашнего лидера сербской оппозиции писателя Вука Драшковича: фильм по его роману «Нож» тоже посвящен событиям Второй мировой войны. У Драшковича исчадия зла — хорваты-ушташи

и партизаны-коммунисты; но и в кино четники-патриоты сумели одержать над врагами разве что моральную победу.

Любопытно, что Слободана Милошевича кино как «важнейшее из искусств» всерьез не интересовало. А вот советники Туджмана считали своего вождя государственным деятелем, равным маршалу Тито, а значит — таким же ценителем прекрасного. Да что там Тито! В конце девяностых годов в Загребе сняли документальный телефильм под названием «Франьо Туджман — хорватский Джордж Вашингтон».

Хотя и говорят, что смутные времена — удачный момент для плодотворного творчества, к кинопроцессу это не относится, потому что искусство кино дорого стоит. Бурное десятилетие разрушило единый прежде югославский кинорынок. Политическое противостояние дошло до такой степени, что в Загребе одно время даже дублировали попавшие в Хорватию югославские фильмы. При всех несомненных лингвистических различиях в диалектах языка, который прежде назывался сербско-хорватским, такой технический прием выглядел дико: словно в широкий прокат вышла версия фильма для глухонемых. В последние годы постюгославские республики стали чаще обмениваться кинопродукцией, и произошло то, что прежде и представить себе было невозможно: сербам в Хорватии, а хорватам в Сербии стали вручать фестивальные призы.

Фильм «Красивые деревни красиво горят» заканчивается, по законам указанного режиссером жанра, трагикомической сценой. Чудом оставшийся в живых Милан, перенесший несколько тяжелейших операций, после смерти в госпитале боевого товарища решается убить вилкой, украденной у санитарки, раненого военнопленного мусульманина из соседней палаты. Сил — не физических, а душевных, — чтобы нанести последний удар, у Милана не хватает. Гума-

низм побеждает, но, пожалуй, только теоретически — потому что Милану и Халилу уже никогда вместе не сыграть в баскетбол.

Не смогут побросать мячик в кольцо и герои фильма Любиши Самарджича «Воздушная петля» (1999 г.). И эта картина — о сербских военных фрустрациях, только о психологических комплексах другой войны: войны НАТО против Югославии. Несколько парней из спального белградского пригорода решают восстановить баскетбольную площадку, разрушенную взрывом бомбы. Естественно, в последней сцене главный герой фильма Кайя, нашедший было душевный покой и вновь обретший развалившуюся семью, погибает. Режиссер Самарджич, по всему судя, при работе над картиной не ставил перед собой очень уж высоких творческих задач: зло в его фильме предстает в более чем конкретном образе крылатой ракеты.

В белградском парке Дружбы, где когда-то высаживали молодые деревца гостившие у товарища Тито главы государств и правительств, по инициативе супруги президента Милошевича и лидера партии «Объединенные Левые» Мирьяны Маркович летом 1999 года воздвигнут монумент «памяти жертв агрессии НАТО против народов Югославии». У подножья стелы высотой в 27 метров должен гореть вечный огонь, но огонь не горит, поскольку в стране не хватает топлива. Сам памятник, к которому ведет удобная для катания на роликах и скейтбордах асфальтированная аллея, загадили не склонные к сантиментам тинэйджеры. Немногочисленных посетителей мемориала из застекленной будки провожает ленивым взглядом полицейский, занятый решением шахматной задачи. Позолоченные буквы надписи «Вечный огонь» сбиты хулиганами, а сама надпись подправлена спреем. Вместо «Вечна ватра» получилось «Вечна вутра» — «Наркотики навсегда»...

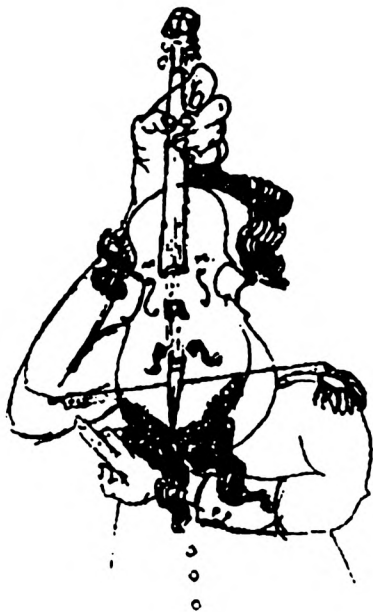
На сербском языке «кинотеатр» — «биоскоп». Забавное словечко, вроде «просвечивания жизни» или «просвечивания человека». Вот этим просвечиванием на подручном материале и занимаются сербские и хорватские режиссеры: снимают кино о войне и о последствиях войны. Своя «чернуха», новая южнославянская «черная волна». Срджан Драгоевич после шумного успеха «военной трагикомедии» выпустил в свет еще один кинохит местного значения, фильм «Раны» — о судьбе мальчика Пинки, родившегося в день смерти маршала Тито. Посттитовское время, развал Югославии, экономические неурядицы и военная истерия сделали из Пинки безжалостного преступника и кровавого убийцу; таково и все его поколение — поколение тех, кто воспитан насилием, тех, кто загаживает памятники. Ту же тему решает, как может, хорватский режиссер Зринко Огреста в фильме «Опустошенные» (1995 г.): солдат вернулся с фронта, а жизнь, оказывается, изменилась до такой степени, что места в ней для главного героя уже нет. Еще более мрачную картину рисует в картине «Бочка пороха» (1999 г., в европейском прокате — «Кабаре “Балкан”») Горан Паскальевич: бесконечная жестокость и озлобленность людей, души которых изуродованы войной и политическим кризисом.

Имена режиссеров, хорошо поработавших над модной темой, часто остаются в памяти и, что важнее, в записных книжках продюсеров. В 2001 году Милчо Манчевски и Горан Паскальевич представили на крупнейших кинофестивалях свои новые работы. Оба режиссера теперь снимают фильмы с приличным бюджетом и достойным актерским составом, оплаченные солидными международными спонсорами. Манчевски привез на кинофестиваль в Венецию «истерн» под названием «Прах», кровавую историю славянско-турецкого противостояния в Македонии в начале XX века. Новая притча на старую тему, недаром

один из персонажей фильма говорит: «На Балканах столетия не следуют друг за другом, а сосуществуют параллельно». Премьера этой киноработы состоялась аккуратно в те дни, когда контингент НАТО в Македонии приступил к разоружению албанских повстанцев. Ну как тут не быть провидцем?

В самом конце девяностых годов Сербия и Хорватия выдали киномиру по одной звездочке международного уровня. Горан Вишнич, на заре карьеры с шумным успехом сыгравший в загребском театре Гамлета, удачно заменил Дэвида Духовны в голливудском сериале «Скорая помощь» — и немедленно превратился в секс-символ Хорватии. Белградский актер Сергей Трифунович тоже не без успеха попробовался в Голливуде («Спасатель»), а на родине прославился после исполнения роли трагического мафиози в фильме Горчина Стояновича «Шершень» (1998 г.). Картина о политически порочной любви албанского юноши Мильяима и сербской девушки Арианы вышла на экраны незадолго до начала войны в Косове и вызвала бурные дебаты в прессе. Ариана не говорит по-албански, «Шершень» не желает говорить по-сербски, однако до поры до времени молодую пару спасает язык страстной любви под дождем. Но, ясное дело, политика, сербская полиция и албанская мафия оказываются сильнее любви. Хотя в фильме заняты и косовские актеры, в Белграде много судачили о причинах, по которым Стоянович доверил исполнение главной роли албанца сербу. Ответ нашел комментатор еженедельника «Време»: Стоянович борется сам с собой, снимая конфликт между цивилизациями с такой опаской, словно боится от разных неприятностей. Но, в конце концов, роли индейских вождей не только в восточногерманских, но и в «настоящих» вестернах десятилетиями играли бледнолицые...

Человек, который выдумал ноль



Миф о литературе,
свободной от литературы

Смерть печатного текста

Мадемуазель Хатшепсут, продавщице в магазине дамского белья, приснился кувшин с двумя носиками: вино завязалось узлом и двумя отдельными струйками вылилось одновременно в два бокала. Так начинается роман Милорада Павича «Стеклянная улитка».

На первой странице другой книги Павича, «Внутренняя сторона ветра», студентка-химик Геронья Букур, холодильник в квартире которой наполнен любовными романами и косметикой, разбивает о собственный лоб вареное яйцо и съедает его.

Роман «Хазарский словарь» открывается не словом, а пустотой — белой страницей. «На этом месте лежит читатель, который никогда не возьмет в руки эту книгу. Здесь он спит вечным сном», — пишет Милорад Павич.

Таких «спящих» читателей у Павича — миллионы. Подозреваю, что даже многие из тех, кто смог дотянуть до последней страницы того или иного его произведения, до конца не понимают замысла и смысла. Сам писатель, впрочем, с этим не согласен: «Мои книги очень популярны — их прочитали не менее пяти миллионов человек. Это опровергает мнение о том, что книги Павича слишком сложны. Читатель намного умнее, чем некоторые думают». Что ж, отнесу себя к этим «некоторым» — на основании собственного, не всегда отменно удачного опыта знакомства с произведениями знаменитого писателя.

Посвященную творчеству Милорада Павича программу радио «Свобода» я, своей игры ради, когда-то

начал с долгой паузы — реверанса мастеру. Внутри этой паузы поместил слушателя, который никогда не слушает радио. Там он и спал — вечным сном. Надеюсь, что хотя бы кто-то проснулся.

Ясмина Михайлович, жена Милорада Павича и талантливый пропагандист его творчества, самый квалифицированный поклонник и самый внимательный читатель его произведений, считает ключом или руководством к книгам своего супруга пособия по компьютерной грамоте. Она же сравнила структуру рассказов Павича с компьютерной видеоигрой: пространство их столь неограниченно, что кажется бесконечным. «Перемещения с одного уровня на другой, вверх — вниз, вправо — влево, позволяют отгадывать загадки, получать сведения и в результате сложить мозаику в единое целое, — написала Михайлович в статье “Проза Милорада Павича и гипертекст”. — А это подвластно только мастерам игр». Другие критики, подмечая страсть Павича к литературной игре, вспоминают Набокова, который использовал в своих книгах элементы шахматной композиции. «Набоков эротизировал, стилистически украшал свое стремление включить в литературную игру читателя, — считает литературный критик Драгинья Рамадански. — А Павич предпочитает игру в чистом виде, иногда доводит ее почти до абсурда, постоянно меняя правила». В романе «Пейзаж, нарисованный чаем» есть такое определение этой словесной игры: «Книги — это ум в картинках».

Павича и Набокова сближает, помимо прочего, виртуозное владение парадоксальным образом. «Они глядят друг на друга, как стоячая вода — что текла бы, имей она русло, — смотрит на сухое русло, которое стало бы речкой, имей оно воду». Так написал Павич, и так мог бы написать Набоков. У кого еще героиня способна, предаваясь любви, «про себя думать серьезно»: «Мгновения моей жизни умирают, как мухи,

проглоченные рыбами. Как сделать, чтобы ими мог кормиться и ЕГО голод?». Несмотря на умение жонглировать образами, Павич относится к фразе скорее как к формуле или как к функции. «Писатель... всегда болен одной болезнью: болезнью крестословицы, — утверждает он. — Скрещивать слова. Умножать их на два. Что такое, по сути дела, книга, как не собрание хорошо скрещенных слов?»

Термин «гиперлитература» Павич, как свидетельствуют его биографы, выдумал в 1990 году, хотя первое и самое знаменитое произведение писателя, относящееся к этому типу изящной словесности, «Хазарский словарь», увидело свет на шесть лет раньше. Павич, поэт, переводчик, историк сербской литературы по «первой профессии» (он — автор многих научных работ, в том числе фундаментального труда «История сербской литературы»), так объяснял мне новое понимание сути писательского ремесла: «Я всю жизнь изучал классическую литературу и очень люблю ее. Но, думаю, классический способ прочтения книг уже исчерпал себя, настало время изменить его — прежде всего когда речь идет о художественной прозе. Я стараюсь дать читателю большую свободу; он вместе со мной несет ответственность за развитие сюжета. Я предоставляю читателю возможность самому решать, где начинается и где завершается роман, какова завязка и развязка, какова судьба главных героев. Это можно назвать интерактивной литературой — литературой, которая уравнивает читателя с писателем. Версия “Хазарского словаря” на компактном диске предлагает пользователю два с половиной миллиона способов чтения романа. Каждый человек может выбрать свою фазу чтения, создать собственную карту книги».

Так что романы Милорада Павича — романы только по форме, его книги — книги лишь по внешнему облику (страница да обложка), а сам писатель, подобно одному из его героев, — «человек, который выду-

мал ноль», творец, попытавшийся начать новый отсчет времени во всемирной литературе.

Швейцарский критик Андре Клавель сравнил «Хазарский словарь» с рестораном, где каждый посетитель составляет меню по собственному вкусу. Вдохновленный этим остроумным замечанием, Павич написал в 1993 году пьесу «Вечность и еще один день» в виде меню для театрального ужина: зритель или режиссер волен выбрать любую из трех вводных частей пьесы в качестве завязки («закуски») театрального представления («ужина») и любой из трех завершающих фрагментов («десертов») для его развязки. «Основное блюдо» неизменно — романтическая связь Петкутина и Калины, но спектакль в одном театре может завершиться хеппи-эндом, в другом — трагедией. Всего существует девять комбинаций, различных по тексту и режиссуре. Чем больше вариантов увидит зритель, тем полнее, как считает автор, окажется представление об истории этой любви.

Сборник «Русская борзая» составлен так, что на вопрос, поставленный в одном рассказе, ответ находится в другом; если же их прочитать вместе, они составят третью историю. По мнению Ясины Михайлович, любой роман Павича можно рассматривать как сборник рассказов, объединенных в циклы: «Структура этих романов подтачивает технологию печатной книги, требуя новой жизненной среды, где она могла бы родиться заново и воплотиться в новой форме». Для правильного понимания гиперпрозы Михайлович предлагает создать специальный «софтвер» (программное обеспечение), некоторые ключевые сюжеты — преподнести визуально, в виде кинофильма или мультипликации, другие — с помощью звука, все это в целях расширения творческой активности читателей.

«Софтвером» для понимания написанного им Павич вынужден снабжать почти каждое свое произведение — иначе оно может показаться бессмысленным. Подробные разъяснения «о подвижных завязках и концовках» даны в предисловии к «гиперпьесе» «Вечность и еще один день», к роману для любителей кроссвордов «Пейзаж, нарисованный чаем» («Как читать этот роман по вертикали» и «Как читать этот роман по горизонтали»), к «Хазарскому словарю». Поэтому тем, кто намеревается подробно познакомиться с творчеством самого знаменитого современного сербского писателя, стоит начать не с чтения собственно книжек, а с попытки разобраться: как, зачем и почему Милорад Павич пишет то, что пишет.

Несомненная заслуга и Павича, и Ясины Михайлович в том, что они придали концептуальность и стройность почти религиозного учения тому, что прежде, до формулирования канонов постмодернизма, уже неоднократно осмысливалось и в литературе, и в живописи, и в кино. Вспомнить хотя бы польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского, его картину «Поезд»: молодой человек успеваешь сесть в поезд, и жизнь его складывается так; молодой человек не успеваешь сесть в поезд, и жизнь его складывается эдак. Многовариантность развития, кроссворд случайностей — тот же вариант предлагает и Павич, но для него этот прием, в отличие от Кесьлевского, — не эпизод, а идеология творчества. Такой замысел реализован в «метаромане» «Стеклянная улитка»: чудодейственная зажигалка в одном из вариантов повествования исполняет заветное желание, в другом — нет. Если вы предпочитаете финал-трагедию, дожидайтесь, пока герой высечет огонь три раза подряд, как предлагает надпись на футляре. Тогда зажигалка взорвется и унесет жизни тех, кто слишком уж настойчиво добивается исполнения заветных желаний.

Калейдоскоп

«Я высказал когда-то мысль о схожести книги и дома, литературы и архитектуры, — вспоминает Павич. — Книга похожа на улицу с односторонним движением: сюжет в ней развивается от начала к концу, от рождения к смерти. По сути, каждая книга, написанная в течение двух последних тысяч лет, словно покоилась на прокрустовом ложе, поскольку допускалась только одна модель литературного произведения. Дом или скульптуру можно изучать с разных сторон, можно ходить по кругу и выбирать по собственному вкусу угол зрения. Нужно сделать так, чтобы все произведения искусства — я говорю сейчас о литературе — были открыты с разных сторон. Чтение моих романов можно начинать с конца, их можно читать по диагонали, перескакивая с места на место, но сюжет все равно выстраивается. Книга есть дом для читателя — на некоторое время. У каждого дома — несколько дверей, окон, чердачных отверстий, и из него можно выйти разными способами, как и из моих романов».

Возведенный в принцип эксперимент иногда играет с игроком-писателем по своим правилам, и тогда форма преобладает над содержанием. Причудливость стиля, беспрестанный экспорт местных мифов и исторических диковин, усложненный баланс языка и смысла делают прозу Павича похожей на дом, переукрашенный лепниной и колоннами. Его письмо столь изощренно, столь перегружено, что в виньетках теряется смысл, за деревьями не разглядишь леса, в философиях тонет сюжет. Писатель утверждает, что в основе любого литературного творчества — свободный полет языка и мысли; однако многие его книги не легкокрылые бабочки, а с трудом отрывающиеся

от земли шмели. Потому что книга есть книга. Строка есть строка. А слово есть слово.

Это — наблюдение читателя. С таким наблюдением отчасти не согласен литературный теоретик Александр Генис: «У Павича сюжет как музыка, его надо пережить в каждую минуту чтения. Каждый элемент прозы Павича — саженец, причем бамбука, уж больно быстро растет. В любом из его сравнений — замысловатая притча, в эпитете — намеченная сказка, в абзаце — свернувшийся фантастический рассказ. Избыточное содержание так велико, что у нас еле хватает сил и воображения держать в памяти картину целого. Тут-то автор и приходит на помощь, предлагая читателю кристаллическую решетку в форме словаря или кроссворда. Для писателя соблазн этих структур в том, что они позволяют вогнать материал в жесткие рамки, не выстраивая при этом линейного сюжета. Композиция здесь дана не автором, а чужой, существовавшей до него формой. Он счастливо отделался от презумпции реализма, которая создает из книги иллюзию мирового порядка — с началом, серединой и концом — и навязывает автору изрядно скомпрометированную роль всемогущего творца».

Вот образец павичевского «абзаца, в котором свернулся фантастический рассказ», один из многих примеров, из романа «Ящик для письменных принадлежностей»: «...Там лежит старый свисток в форме фаллоса и стеклянная пробка от флакона, который в ящике не обнаружен. Свисток предназначен для того, чтобы вызывать души умерших. Это зов, на который откликаются ледяные сны мертвых душ, когда они, чтобы согреться, забираются иногда в теплые сны живых. Свисток служит для того, чтобы мог подать голос тот, кто хочет вызвать души мертвых».

Бессмысленное с точки зрения законов классической литературы повествование Павич перемежает псевдоглубокими фразами, конструировать которые

он великий мастер: «У молодых есть время быть мудрыми, а у меня на это времени больше нет», «Его глаза были голубыми от толщи времени, через которую смотрели», «Безумный живет, пока хочется, а умный — пока нужно». Таких идиом и образов у Павича множество, ими он замещает логические пустоты повествования, которое иначе, наверное, рассыпалось бы в бессвязность. Павич порой нарочито подчеркивает, что в придуманном им мире мало что значат привычные пропорции и соотношения. «Атиллия поливает цветы под окном музыкой из рояля: чем лучше музыка, тем быстрее растут цветы» — вот так, например, писатель нарушает привычное, выдумывает нелинейную логику. В своем мире он устанавливает иные зависимости — подобно зависимости между благоуханием цветов и громкостью музыки.

Павич легко борется с теми, кому не по нраву его «литература будущего»: «Каждый имеет право не любить Интернет или компьютер, таких людей много, однако спросите своих детей и внуков, что они думают о новых средствах обмена информацией». Перо, которое тысячелетиями было необходимым, наконец заменено компьютерным стилем. Павич в свете победы новой информационной технологии выступает в роли пророка: разрушая многовековое литературное наследие, он не боится будущего. Павич говорит: «Я понимаю, почему многие люди ненавидят будущее: они боятся, они напуганы тем, что должно (или тем, что может) случиться. Выбрать свое завтра мы не вправе — придется смириться с тем, что нас ждет». И как решающий аргумент: будущее — в детях, а не в их родителях. Эта связь времен разъясняется в романе «Пейзаж, нарисованный чаем»: «...Нет резкой грани между прошлым, которое растет, поглощая настоящее, и будущим, которое, судя по всему, отнюдь не является неисчерпаемым и непрерывным, но с како-

го-то мгновения начинает уменьшаться и проявляться импульсами».

Понятно?

Философ Михаил Эпштейн задается вопросом: «Сохранится ли вообще понятие “литература” в том смысле, в котором мы его сегодня употребляем? Интернет — это сплошь литература. Только в отличие от книги, где буквы замкнуты в бумажном пространстве, здесь буквы творят виртуальные миры». Звучит красиво, но можно красиво и возразить: если в книге буквы заперты в бумажном пространстве, то в компьютере они замкнуты в пластиковом ящике, а высота полета мысли и писателя, и читателя не зависит от того, в какой именно форме осуществляется передача информации.

Переводчику многих романов Павича Ларисе Савельевой его книги напоминают калейдоскоп: «Очень яркие, состоят из отдельных фрагментов, которые складываются в постоянно меняющуюся картину». Вот одно из объяснений такого феномена: Павич — писатель для молодых и жадных до впечатлений читателей. «Молодежь любит решать головоломки и любит придумывать объяснения символам, — говорит литературовед Драгинья Рамадански, — поэтому сложные романы Павича становятся бестселлерами, которые молодежь читает в автобусе, в метро или на пляже. Молодые ищут тайну, им важно не решение проблемы, а присутствие в сюжете вызова, который до конца повествования держит их в напряжении. Люди старших поколений, как правило, настроены более конформистски и стремятся к абсолютной идентификации с автором».

Уставший после трудового дня врач или инженер откроет книгу Павича разве для того, чтобы потом похвалиться перед друзьями знакомством с «гипертекстом». Павича невозможно читать между делом, в обеденный перерыв, поскольку чтение его книг —

серьезная работа. Получаешь не удовольствие, а интеллектуальное удовлетворение — это не расслабленность любовника, а усталость математика, разрешившего сложную задачу. Павич, впрочем, считает, что его скачкообразное, диагональное письмо ближе к человеческому способу мышления, потому что язык — понятие линейное, а человек мыслит по-другому: «Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта».

Интерактивное чтение по Павичу — это еще и возможность заставить персонажа чужой, не тобой написанной книги совершить самоубийство или позволить ему стать королем. Тот, кто читает Павича, уверен: он сам выбирает себе приключение. Героиня романа «Пейзаж, нарисованный чаем» становится жертвой роковой страсти к каждому, кто берет эту книгу в руки. Не случайно один критик прозу Павича назвал «абсолютной литературой», другой окрестил писателя «начальником штаба европейского модерна» (если быть точнее — «штаб-фюрером», поскольку критик оказался австрийцем). Белградский филолог Александр Гаталица дает советы читателям: «Книги Павича нужно читать по вертикали и по горизонтали, вдоль и поперек, направо и налево, вперед и назад, вверх и вниз, по поверхности и в глубине, с ощущением исторического подтекста или без такового, просто наслаждаясь или получая интеллектуальное удовольствие, определяя значение каждого слова или целиком всего текста. Павич — это величина, это институция, и безумен тот, кто дерзнет покуситься на него».

В оценках Гаталицы сквозит ирония: рядовым не под силу спорить со штаб-фюрером.

Павич указывает, что нелинейные способы чтения использовались и раньше, но не в художественной прозе, а в словарях. «Хазарский словарь», «словарь словарей о хазарском вопросе» — самое знаменитое и

самое сложное произведение Павича («Словарь — книга, которая, требуя мало времени каждый день, забирает много времени за годы. Таковую трату не следует недооценивать»). Когда-то в Средневековье между двумя морями хазары основали сильное степное государство и исповедовали забытую теперь религию. Из этой неведомой веры они обратились в одно из известных и тогда и ныне божественных учений — иудейское, исламское или христианское. Какой именно из миссионеров убедительнее других истолковал хазарскому кагану его сны — дервиш, раввин или монах? Милорад Павич не для того, чтобы искать ответ на этот вопрос, привел хазарское племя в свое литературное царство. Его интересуется сплетение легенды и летописи, предания и исторической хроники — в конечном счете слияние полуправды и полувывымысла, яви и сна, мечты и реальности. Среди десятков фантазмагорических персонажей в «Хазарском словаре» упомянут учитель фехтования Аверкий Скела — он собирал коллекцию сабельных ударов и охотился за путешественниками по чужим снам. Ске-ла считал, что «немножко сна» всегда просачивается наружу, в реальность, «потому что продолжительность сна короче, чем явь, которая снится». На этой мистической грани с удовольствием и уже не один десяток лет балансирует Милорад Павич. Однажды сам себя он нарисовал так: человек со скрипкой вместо головы.

Полупритча, полусказка, сон, слегка просочившийся в реальность, — вот его литературная стихия.

Черепки черепков

Милорад Павич — почтенный, попыхвающий изогнутой трубкой, грузный, усатый господин со старомодными манерами, в старомодном костюме и со

старомодными взглядами не на книжную, а на окружающую его реальность. Он — убежденный монархист, патриот, его душа болит «за сербский народ», он ответственно относится к обязанностям члена тайного Королевского совета наследника югославского престола Александра Карагеоргиевича. Писатель живет затворником, редко встречается с журналистами, избегает разговоров о политике, не участвует в злободневных общественных дискуссиях, не заседает в президиумах. Несмотря на популярность его книг в Югославии и за ее границами, сам Павич не стал для белградского бомонда привлекательной фигурой, да и для него этот бомонд, по всему судя, не представляет интереса. О Павиче у него на родине не то чтобы говорят плохо — о Павиче просто не говорят, он, крупнейший европейский писатель, как будто выпадает из каждодневной белградской реальности.

Политические взгляды Милорада Павича — еще один парадокс. Павич — рафинированный сербский националист, хотя его взгляды на процесс литературного творчества, казалось бы, предполагают обязательный космополитизм, святую веру в мир без наций и границ. Но при этом несомненном космополитизме Павича не назовешь писателем югославским или южнославянским, хотя две трети жизни он прожил в социалистической федеративной Югославии, так уверенно он подчеркивает «отдельность» сербского народа; так безоглядно этот сербский народ сливается в его книгах с великим всеславянским племенем. Павича обычно не волнует сиюминутность: неслучайно сюжеты многих его романов развиваются либо в прошлом, либо в непонятном будущем, либо вовсе вне временного контекста (но в любом случае — скачками и рывками, с перекрещением эпох). История для Павича — лишь более или менее красочная декорация, а вот время (особенно прошлое и будущее) становится одним из ключевых понятий. Свое книж-

ное будущее Павич, подобно Авраму Бранковичу из «Хазарского словаря», заселяет медленно и осознанно, «возделывает его, как большой сад», «обращает внимание на то, чтобы будущее не замедлило свой ход и рост, однако заботится и о том, чтобы самому не разогнаться и не зашагать вперед быстрее, чем оно может продвигаться впереди него».

В представлении одного из персонажей Павича время — это узелки на шелковом чулке, в котором хранятся отрезанные пряди волос (каждая новая прядь — новый узелок — новый этап времени). Герой другого романа проживает четверг прежде вторника, лишь слегка огорчаясь тому, что от перестановки дней швы между ними получают не слишком гладкими, а во времени возникают трещины. Третий отсчитывает часы «невралгическими точками, седьмыми годами, чем-то вроде пупков на времени». Такими точками одно время отделяется от другого узлом, а узел перекрывает питание последующего времени за счет предыдущего. Время затягивает все новые и новые памятные узелки: вот в две тысячи двухсотом году внучек спрашивает у деда, что такое Чернобыль. «Э, дитя мое, — отвечает дед, — длинная и старая это история». — И гладит внука по *головкам*».

Особое удовольствие для Павича — бродить в лабиринте православной сербской истории: «Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Да и тематически действие почти всех моих книг развивается здесь. Я родился и всю жизнь прожил в Белграде, а потому говорю вещи, важные прежде всего для русских, сербов, греков». Свою исконность Павич лишний раз подчеркивает в автобиографии, сопровождающей многие издания его романов: «Я — писатель уже больше двухсот лет. В далеком 1766 году некто Павич опубликовал в Будиме сборник стихов, и с той поры мы считаем себя писательским родом. Я рожден в 1929 году

на берегу одной из четырех райских рек в 8 часов 30 минут утра под знаком Весов». Астрология, а не политика, космические часы, а не земной счет минут определяют его судьбу. «Мне вдруг пришло в голову, что названия звезд можно воспринимать как слова, из которых строится фраза. В таком случае небо становится своего рода букварем, пользуясь которым можно из звездных имен составить и прочесть какое-то послание. Но как?» — вопрошает писатель в романе «Звездная мантия». И сам предлагает ответ.

Сербы в произведениях Павича — мифический небесный народ: в новелле «Дамаскин» архитектор Йован с прозвищем Лествичник, строящий храм Введения Пресвятой Богородицы, возводит сразу три церкви. Одну — каменную; другая под окнами растет сама собой из самшита, и садовники только и успевают подстригать этот зеленый храм каждый день так, чтобы его очертания соответствовали очертаниям настоящего; третья, нарисованная на чертежах фиолетовыми чернилами церковь возводится на небесах.

Новеллу «Дамаскин», прежде чем печатать в книге, Павич обнаружил на Интернет-сайте www.knjizevnagres.co.yu, поэтому она вполне приспособлена и для виртуального чтения. В новелле — два перекрестка, и читателю (пользователю) предоставляется выбор, какую главу читать первой, какую — второй. Поскольку обе концовки в равной степени лишены классического литературного смысла, особой разницы в том, с чего начинать, и не отыщешь.

Манера письма Павича привлекательна для десятков подражателей. С течением времени, говорит писатель, я все меньше — автор моих книг и все больше — автор книг будущих, которые никогда не будут написаны. Не будут написаны Павичем, но будут написаны другими? Традицию мастера развивает, например, сербский писатель Горан Петрович, младше Павича на поколение. В книге «Атлас, составленный

небом» Петрович тщательно соблюдает правила уже ставшей законом постмодернизма интерактивной игры. Есть в этом романе такой символический образ: разумное кривое зеркало, которое утром отражает прошлое, днем — настоящее, а вечером — будущее. Но иногда в этом зеркале вообще ничего не увидишь. Сравните с игрой образов в книгах самого Павича: героиня романа «Ящик для письменных принадлежностей» покупает «старинные любовные часы — изящную стеклянную вещицу, заполненную жидкостью, с помощью которой можно измерять продолжительность любовного совокупления».

«Гипертексты» Милорада Павича привлекают внимание не только писателей и читателей. Белградский композитор Светислав Божич написал ораторию по мотивам прозы Павича. В июне 1996 года эту ораторию исполнил санкт-петербургский Хор имени Глинки. «Связь русской песенной традиции, сербской музыки и византийской прозы Павича имеет почти мистический характер», — считает композитор. Не зря Божич впоследствии принялся за работу над большой хореографической поэмой по мотивам романа «Последняя любовь в Константинополе». Я разыскал в Белграде и самого Божича, и его ораторию «Молитва Рачана». Оратория оказалась вполне мрачной религиозного звучания музыкой, а Божич — бескомпромиссным поклонником таланта Павича. «Его проза содержит духовный опыт, позволяющий стирать границы между видами искусства, — уверял меня композитор. — Такая сила, думаю, просто дана писателю от рождения, это — Божий промысл».

Сербский режиссер Драган Маринкович снял по роману «Последняя любовь в Константинополе» фильм «Византийская синева». Французская театральная труппа «Сизте дю Шато» поставила спектакль «Ловцы снов». Балетный ансамбль бельгийца Вима Ванкейбуса «Ултима вез» превратил «Хазарский словарь» в балет под названием «Горы, сотворенные из лавы». В Белграде вышла книга комиксов по мотивам произведений Павича. Датский композитор Могенс

Кристенсен пошел дальше своего югославского коллеги Божича — сочинил на тему «Хазарского словаря» скрипичный концерт, фортепианный дуэт и камерную симфонию. Наконец подключились и компьютерщики: специалисты белградского предприятия «Центр-груп» подготовили си-ди-ром версию «Хазарского словаря» .

Александр Генис считает тяготение Павича к образам прошлого не случайным: «Павича называют первым писателем третьего тысячелетия, но сам он тянется не в будущее, а в прошлое — к Гомеру, к той литературе, которая была до книг, а значит, сможет выжить и в постгутенберговском мире, когда (и если) их снова не будет». То же свидетельствует и Драгинья Рамадански, хотя и не усматривает никаких противоречий в творческой концепции Павича: «Василий Розанов писал, что Гутенберг железным языком печатника облизал человеческую душу. Многие писатели воспринимали книгу как атаку на спонтанность, на искренность выражения мысли. С их точки зрения, книга — своего рода способ насилия. Буквы, строки, поле, статья — все подлежит строгому упорядочению. Их идеал — возврат к устной речи, к языку свободных ассоциаций, к языку гомеровских вариаций. Но все же компьютерный гипертекст очень похож на гутенберговское письмо. Он порождает ассоциации со свободой выражения мысли, но сохраняет основные элементы книжной культуры, сохраняет печатное слово». Поэтому свобода творчества, которую Павич видит в бесконечном эксперименте с формой, в безграничной игре с читателем по правилам игры, установленным писателем, — во многом есть свобода вымышленная. Еще раз: слово есть слово. Текст есть текст. Книга есть книга.

То, что Павич — именно сербский писатель, всего лишь случайность. Но, я думаю, прав и Генис, утвер-

ждающий: «Все разновидности “магического реализма” растут лишь в тех неблагоприятных краях, где натуральность и гротеск, реализм и фантастика перемешиваются в мучительной для жизни, но плодотворной для литературы пропорции. Лучшие сочинения рождаются в момент кризиса. Самое интересное в культуре происходит на сломе традиционного сознания, когда органика мира уже пошла трещинами, но еще держит форму: уже не глина, еще не черепки...» Для сербов и Сербии это сомнительное утешение: если гений Павича — расплата за многократный распад страны, национальное унижение и нищету, то цена эта слишком велика. На переломе веков «органика сербского мира» превратилась даже не в черепки — в черепки черепков, в мельчайшее крошево. Отсюда у Павича — и совсем не удивленное ожидание близкого Апокалипсиса («Сегодня конец света настолько созрел и стал таким вероятным, что вызвать его может даже трепетание крыльев какой-нибудь бабочки»), и ворчание в адрес западной цивилизации («Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарство Балканам»). Отсюда — вызывающая самооценка в разговоре с любым собеседником-иностранцем (и я не стал исключением), выставленная к тому же на всеобщее обозрение чуть ли не на первой странице персонального Интернет-сайта: «Самый знаменитый писатель самого презираемого народа». Отсюда — и антизападный настрой романа «Звездная мантия», навеянный горечью военных для Югославии весенних месяцев 99-го года.

Большую литературу создают те, кто попал в зазор между естественным и протиестественным. Павич в зазор сербской реальности протиснулся без труда — при всех габаритах своего таланта. Драгинье Рамадански такая легкость кажется, кстати, не типично сербской, а заимствованной: по ее мнению, тенденцию недоверия к слову породила русская литература. Зна-

ток и аналитик Пушкина, Толстого, Достоевского, Милорад Павич разочарован традиционной концепцией слова: слово исчерпало себя, слово слишком часто обманывало, неудачно подменяло реальность, заставляло жить в бумажной, написанной действительности. «Наверное, поэтому у восточноевропейских народов такая тяга к модернизму, — пожаловалась мне Драгинья Рамадански. — Мы стали жертвами слова и идеологии».

В этом контексте увлечение Павича русским языком и русской литературой и впрямь не выглядит случайным. Павич, как и многие русские писатели, не только пишет о зле, он материализует зло, он дает злу высказаться. В его книгах зло почти очаровывает (архангел Нафанаил в «Пейзаже, нарисованном чаем» в мгновение ока превращается в Сатанаила). Павич пишет: любое литературное произведение, подобно раковой болезни, живет и кормится своими метастазами. А в нынешней России уважать дьявола-Павича, помимо прочего, еще и патриотично.

Павич — модный писатель в России, где в последние годы уже издано все важное из того, что он написал. Сербский писатель уравнил себя в правах и с российским читателем, который, ничем не отличаясь от поклонников таланта Павича в других странах, помнит: «Хазарский словарь» — это роман-лексикон, «Последняя любовь в Константинополе» — это роман — водяные часы, «Внутренняя сторона ветра» — это роман-пособие для гадания на картах таро, «Пейзаж, нарисованный чаем» — это роман-кроссворд, «Звездная мантия» — это роман — астрологический справочник.

В России Павич пришел на смену другим восточноевропейским писателям, когда-то успешнее его самого прорывавшимся сквозь рогатки советской цензу-

ры — болгарину Павлу Вежинову и поляку Станиславу Лему. И теперь в рейтинге книжных магазинов крупных российских городов Милорад Павич возглавляет «большую славянскую тройку», в которую, помимо него самого, входят чех Милан Кундера и поляк Чеслав Милош. Симпатия к сербу-интеллектуалу, «космополиту по форме и славянофилу по содержанию», для московских и питерских западников превращается еще и в щекочущую нервы политическую фронду. «Критики в Испании и Франции называли меня первым писателем XXI века, но я жил в XX веке, когда приходилось доказывать невиновность, но не вину, — пишет Павич. — Для моих книг было бы много лучше, если бы их автором был какой-нибудь турок или немец». Кокетничая, писатель утверждает: «У меня нет биографии. У меня есть библиография».

Проза Павича основана на панславянской, византийской, во многом — религиозной традиции. Эта традиция позволяет писателю, в частности, представлять цивилизацию по модели монашеского православного государства на горе Афон в Северной Греции, где есть два типа братии — киновиты и идиоритмики. Первые связаны святым заветом братства и объединены в своего рода коммуну, вторые живут сами по себе, почти не соприкасаясь с остальными монахами. «Монахи с Синая и Афона открыли маленькую “систему Менделеева” в области, относящейся не к химии, а к целому комплексу видов человеческой деятельности... Писателей с читателями роднит... универсальная модель со Святой Горы... Каждый из нас мог бы задаться вопросом, к какой группе принадлежит он сам — к одиночкам или к братству людей, связанных друг с другом, и, найдя ответ, получить возможность чуть больше понять себя и свое время, свои занятия и неудачи, трудности

или достижения», — утверждает Павич, пытаясь выстроить из монашеской и литературную иерархию тоже (его статья не случайно называется «Писать во имя Отца, во имя Сына или во имя духа братства?»). «Во имя духа братства», по мнению Павича, творили Сервантес, Платон и Толстой, к «настоящим одиночкам» относились Сократ и Шекспир, а Аристотель «оказался зажатым между двумя мощными братствами в поколении отцов и поколении детей».

Себя Павич называет «идиоритмиком XX века».

Та изобретательность, с которой Милорад Павич классифицирует литературу, препарировывает творческий процесс, разрезает его на несмысловые куски и временные отрезки, — превращает писателя-философа в писателя-механика. «В любой момент истории внутри любой культуры существуют, по крайней мере, три художественных стиля, они пересекаются и дополняют друг друга или противостоят друг другу, — это цитата из романа “Звездная мантия”, — осень уходящего стиля, весна нарождающегося стиля и лето стиля, находящегося в расцвете и доминирующего в искусстве». Рождение — жизнь — смерть. Прошлое — настоящее — будущее. Явь — сон — пробуждение...

Скрещивать слова. Умножать их на два. Что есть книга, как не собрание хорошо скрещенных слов?

Война как спорт и спорт как война



Миф о победе в бою

Теперь я знаю: до тайны добираются не по накатанной дороге, а по боковой тропинке, она — в конце не правильного, а ошибочного пути.

Милорад Павич, «Атлас ветров»

Известна теория, согласно которой англичане, умный и расчетливый народ, потому изобрели в конце XIX века футбол, теннис и бокс, что Британская империя застоялась без войн. Сильнейшая держава мира искала самовыражение в спортивной схватке — в войне без смерти, потому что насилие, превращенное в ритуал, облагораживается. Философы Мишель Мафезоли и Герберт Спенсер писали о том, что чемпионаты мира по футболу заменили бои гладиаторов и рыцарские турниры. Это утверждение, впрочем, не абсолютно — в гитлеровской Германии спорт стал способом пропаганды арийского духа, а гордость советского человека десятилетиями питалась верой в преимущество над всей планетой в хоккее, фигурном катании и гимнастике.

Ровно через столетие после рождения британской спортивной инициативы выяснилось, что и у этого движения к совершенству есть обратный вектор. Пожалуй, только «футбольная война» в Центральной Америке своим возникновением в большей мере обязана спорту, чем конфликт в бывшей Югославии. В Белграде и Загребе лозунг «О спорт, ты — мир!» приобрел в конце восьмидесятых годов не казенный, как в Советском Союзе, а издевательский характер. В этом прослеживалась недобрая логика: и в титовские времена матчам против советских и немецких команд в Белграде придавали политическое значение. Сербам, хорватам, черногорцам, боснийцам свойственно ощущение спортивного превосходства, здесь самому понятию состязательности придается особое значе-

ние, сама жизнь многими воспринимается как соревнование. Журналисты придумали такую сентенцию: «Когда Бог создавал сербов (хорватов, черногорцев — эта история существует в нескольких республиках), то в руки новорожденному младенцу он вложил мяч». Южные славяне действительно традиционно сильны в играх с мячом: футбол, водное поло, баскетбол, гандбол, теннис — это их стихия, предмет их гордости, а в последнее десятилетие века — еще и повод для утверждения в политике.

Югославская война началась не из-за футбола — спорт дал всего лишь повод для всплеска ненависти. Югославская война просто началась и закончилась на футболе.

13 мая 1990 года на загребском стадионе «Максими́р» местное «Динамо» принимало белградскую «Црвену звезду». Вместе с командой из Белграда приехали тысячи полторы «зажигательных» (есть в сербском и хорватском языках характерное словечко — «vatreni», от «vatra» — «огонь», «пламя») болельщиков — «делий». Ими командовал Желько Ражнятович Аркан, один из заметных персонажей преступного мира, впоследствии — известный сербский полевой командир, в конце концов жутко простившийся с жизнью в фойе белградского отеля «Хайат» (киллер просто изрешетил его пулями). Но тогда, в мае 90-го, и для Хорватии с Сербией, и для самого Аркана война и все, что с войной связано — кровь, пожары, богатство, патриотизм, слава, преступления и расплата за эти преступления, мученическая или позорная смерть, — все это было впереди. 13 мая футболистам «Динамо» и «Црвены звезды» не суждено было наиграться: на поле высыпали разогретые спиртным и патриотическими речевками болельщики, в дело вмешалась вооруженная дубинками милиция, а потом к потасовке присоединились и спортсмены. Пролилась первая кровь первой из протянувшихся на десятилетие югославских войн.

В тот вечер на стадионе «Максимир» родился герой номер один борьбы за независимость Хорватии — динамовский полузащитник Звонимир Бобан, будущий капитан национальной команды и игрок средней линии итальянского клуба «Милан», а также будущий кавалер хорватской «Медали благодарности Отечества».

А первой жертвой войны, которую в Хорватии называют отечественной, меньше чем через год после драки на стадионе «Максимир» стал юноша, при жизни неизвестный широкой публике, — 21-летний полицейский Йосип Йович, обычный паренек, застреленный якобы сербскими сепаратистами на рассвете 31 марта 1991 года во время патрулирования Плитвицких озер. Йовича канонизировала туджмановская пропаганда, превратив в почти религиозного мученика. Павший в бою солдат должен был стать символом жертвенности и патриотизма, достойным примером для массовых подвигов молодежи. Должен был — и стал, хотя много позже загребский еженедельник «Глобус» и опубликовал свидетельства сослуживцев Йовича, в роковой день стоявших слева и справа от него в оцеплении: по их утверждениям, парень погиб вовсе не от руки «сербского террориста», а от шальной пули, случайно выпущенной его же товарищем. Легенда поблекла. Миф умер — через несколько лет после того, как умер Йосип Йович.

Подвиг Звонимира Бобана оказался долговечнее. Во-первых, сцену драки на стадионе «Максимир» зафиксировало телевидение: симпатичный парень в спортивных трусах колотит югомилиционера в мешковатой оливковой форме. Во-вторых, поступок Бобана дал загребским политикам повод для отождествления понятий спортивной и воинской доблести, в буквальном смысле слова приравнял к штыку футбольные бутсы. Поэтому никого не удивляло, что после Олимпиады 1992 года в Барселоне обладателей

серебряных медалей — баскетболистов хорватской сборной — встречали в Загребе не как героев-спортсменов, а как вернувшихся с битвы витязей, во имя спасения Отечества смотревших в лицо смерти.

В хорватском баскетболе тоже нашелся показательный патриот под стать футболисту Бобану, только еще лучше. Лидера сборной Дражена Петровича местные журналисты за его действительно выдающийся талант называли «баскетбольным Моцартом». Он первым из европейских баскетболистов сделал карьеру в НБА — Петрович, прекрасный снайпер, в целом успешно выступал за команды «Портленд Трейл Блейзерс» и «Нью-Джерси Нетс». Дражен погиб в авткатастрофе в Германии в июне 93-го года. Я попал в Загреб через пару недель после его смерти — город был просто облеплен траурными постерами с фотографиями баскетболиста. Из живой легенды Петрович превратился в легенду вечную. Могила спортсмена на столичном кладбище «Мирогой» — эффектная стела с фотографией Дражена в спортивной форме — стала местом паломничества. Площадь в Загребе, на которой расположен дворец спорта, где играет «Цибона», назвали именем Петровича. Пресса превратила ушедшего из жизни в расцвете таланта баскетболиста в идола, поклоняться которому предлагалось всем патриотически настроенным любителям спорта. «Вот если бы Дражен был жив, то он наверняка поступил бы так-то и так-то», — раз за разом писали загребские газеты. Зимой 1996 года председатель Олимпийского комитета Хорватии Антун Врдоляк пролоббировал открытие в парке Международного Олимпийского комитета в Лозанне памятника Петровичу. Объявили всехорватский конкурс, победу одержал сплитский скульптор Васко Липовац — однако выполненный им эскиз памятника не понравился семье погибшего баскетболиста. Разразился скандал. Дискуссия о памятнике стала едва ли не всенародной, чуть ли не осел-

ком, на котором проверялись патриотические качества граждан. Липовац в конце концов внес изменения в проект, а мать Петровича Бисерка отказалась от намерения писать на скульптора жалобу в Международный Олимпийский комитет.

И спортсмены, и журналисты из Сербии и Хорватии вели друг против друга свои войны. Главной битвой — задолго до того, как она состоялась, — объявили встречу между национальными футбольными сборными. Но турнирный жребий свел соперников лишь через несколько лет после окончания «настоящей» войны, когда националистические страсти во многом оказались исчерпанными. А до этого встречались сербские и хорватские гандболисты, баскетболисты, ватерполисты, хотя международные спортивные организации каждый раз, когда волей судьбы возникала неблагоприятная пара, мучительно решали: играть «им» или не играть, если играть, то где, можно ли на матч допускать болельщиков и т.п. Журналисты пытались спортсменов, что они испытывают накануне таких встреч, и радовались, если получали «правильный патриотический» ответ. Что-нибудь такое: за то, что «они» разбомбили наш Вуковар, мы их просто разорвем. Кстати, спортивное содержание сербско-хорватских дуэлей всегда уступало их эмоциональному накалу: спортсмены перегорали до игры, и настоящее зрелище не получалось.

Белградская спортивная (да и не только спортивная) печать регулярно писала о «мраке максимирского националистического бешенства». Настоящий вал статей на эту тему выплеснулся на страницу газет осенью 90-го года, когда стадион «Максимир» стал свидетелем последнего футбольного югославского матча старого «образца». Сборная СФРЮ принимала в Загребе в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы команду Голландии. Югославы проиграли 0:2, а загребская публика на трибунах неистово

поддерживала их соперников. Хорватские журналисты и спортивные чиновники платили сербским коллегам той же монетой. В пору так называемого «лексического обновления», когда в Загребе утверждали хорватский язык (изданный Лингвистическим институтом хорватской Академии наук словарь различий очень близких сербского и хорватского языков содержит 120 тысяч понятий), даже сербское слово «футбол» в Хорватии воспринимали с издевкой, словно «ногOMET» был другой игрой. Помню реакцию заградской газеты «Спортске новости» на предложение кого-то из сербских интеллектуалов организовать в знак межнационального примирения матч сборных Югославии и Хорватии: «Пускай они играют в своей “футбал” с пленными солдатами ООН».

На сербско-хорватский фронт футбольные болельщики уходили целыми отрядами и считались (если, конечно, доверять тому, что рассказывали и писали) самыми яростными бойцами. И белградские, и заградские власти бережно пестовали миф о том, что два явления — «правильная» спортивная приверженность и национальная лояльность — невозможны одно без другого. Еще до окончания войны у центрального входа на стадион «Максимиr» появился памятник болельщикам-патриотам, «отдавшим жизнь в борьбе за родину». А в Боснии и через пять лет после заключения мира в ходе предвыборной кампании использовался лозунг, обыгрывавший название популярной сараевской футбольной команды: «Голосуйте за тех, кто болеет за “Железничар”, а не за “Црвену звезду”».

Хорошую статью о связи политики со спортом, о том, как футбол превратился в «продолжение войны другими средствами», написал белградский ученый Иван Чолович («Политика символов», Белград, 2000 г.).

«С конца восьмидесятых годов хулиганство футбольных болельщиков все в большей степени стало основываться на национальных мотивах. На трибунах появились политические национальные лозунги, символы национализма. На белградских стадионах тогда одним из самых популярных лозунгов был обращенный к Слободану Милошевичу клич: “Слобо, серб, Сербия с тобой”. (Занятно, что через 10 лет на тех же стадионах полиция избивала болельщиков, скандировавших: “Слобо, спаси Сербию, убейся!” — *А.Ш.*) Вот как сербские газеты писали о матче “Црвена звезда” — “Панатинаикос” (София, март 1992 года), сыгранном вскоре после того, как УЕФА запретила проведение международных встреч на югославских стадионах: “Армия ‘делий’ была так же велика, как сербская армия, которую когда-то водили в бой наши национальные герои. Проклятая международными чиновниками команда совершила подвиг, сравнимый только с подвигами сербской армии во время Первой мировой войны. Ту армию тоже презирали и унижали союзники, но она выжила и побеждала в боях, хотя всегда была ‘в гостях’. (Потерпевшая неудачи на первом этапе войны сербская армия эвакуировалась на греческий остров Корфу и только через несколько месяцев с боями вернулась на родину. — *А.Ш.*) У нас нет другого спасения — мы должны побеждать. Это не клич 1915 года — это сегодняшний лозунг ‘Црвены звезды’”.

На всю страну прогремела история об 11-летнем мальчике, которого папа повез в Софию посмотреть этот футбольный матч, а когда вернулся домой, так объяснил учителям двухдневное отсутствие в классе своего сына: “Я дал своему сыну практические уроки патриотизма. Теперь вам предстоит решать, сочтете ли вы эти два дня прогулами”. Постепенно сформировалось убеждение, что главное в команде “Црвена звезда” — ее сербский характер, а поддержка команды на стадионе — это поддержка сербства и Сербии.

После начала войны ушедших на фронт болельщиков посещали кумиры — футболисты “Црвеной звезды”. Напри-

мер, “Спортски журнал” весьма одобрительно отзывался о Владане Лукиче, который четыре раза побывал в Эрдуте, чтобы поддержать своих болельщиков, ставших солдатами.

Песни болельщиков стали военными гимнами. Не случайно: ведь то, что пелось на трибунах, было в свое время взято из национального фольклора, и теперь этим нехитрым мелодиям всего лишь вернули их прежнее содержание.

В книге спортивно-патриотических песен Неделько Неше Попадича “Сердце на траве”, вышедшей в издательстве “Спортска книга” в 1982 году, есть такие строки:

Но до того, как судья
Подаст сигнал к началу матча,
Вспомните о стране партизан
И знайте: сегодня вы — титовская армия!
Вперед, во славу родины, во славу Дома цветов,
Вперед, во имя свободы! Вперед, вперед — за Тито!

Националистическая печать в буквальном смысле слова направила на фронт агрессивную энергию болельщиков, придала новый смысл идеям патриотического самопожертвования. Клубы болельщиков легко превращаются в военные формирования, потому что они так же проникнуты духом организованной покорности. Превращение болельщика в солдата — только реинтерпретация уже существующей структуры, поэтому в военное время группы “делий” сохраняли свой “спортивный характер” и свой фольклор.»

Иван Чолович, специалист в области этнологии, написал по моей просьбе несколько толковых текстов для передач радио «Свобода». Сотрудничество наше приостановилось весной 1999-го, когда начались налеты авиации НАТО на Югославию. Я позвонил в Белград, чтобы сделать очередной заказ, а Чолович, извинившись, отказался: «Я уже неделю не могу разыскать лимоны для больного отца и не способен думать ни о чем другом».

В деле бесцеремонного смешения спорта и политики, как и во многом другом, Сербия и Хорватия — словно близнецы, словно зеркальное отражение друг друга. Отличие разве что в том, что сербский лидер Слободан Милошевич спортом совершенно не интересовался, никогда не появлялся на трибунах стадионов и ограничивал свое участие в этом «патриотическом» деле поздравительными телеграммами в адрес завоевавших медали на Олимпиаде или другом важном международном соревновании спортсменов. А хорватский президент Франьо Туджман, одержимый болельщик, вел себя по-другому. Вскоре после прихода к власти своевольный Туджман (в пятидесятые годы, кстати, будучи генералом титовской армии, он возглавлял белградский армейский клуб «Партизан») принял решение найти своей любимой команде, столичному «Динамо», название поблагороднее. Поначалу команде вернули имя межвоенных лет «ХАСК — Граджански», но оно показалось бесцветным, и тогда выбор пал на политически корректное «Кроация». Туджман, фанат из числа тех, кто каждому поражению «своих» умел находить объяснение, а победу готов был выторговывать любыми способами, не скрывал стремления превратить футбол как и спорт вообще, в экспортный товар молодой республики. Каждая спортивная победа преподносилась прессой как доказательство превосходства хорватского духа. Нападающий Ален Бокшич однажды забитый гол посвятил «всем тем ребятам, которые в 91-м сражались за нас». Спорт в Хорватии превратился в опору авторитарной власти, стал, как удачно заметил один из моих коллег, «параллельным государственным механизмом».

Многие это понимали: завоеванное хорватами третье место на футбольном чемпионате мира 1998 года, например, в Загребе называли «бронзовым памятником президенту Туджману». А пропаганда беззастен-

чиво руководствовалась «двойным стандартом»: если, скажем, сборная России приезжала в Белград на товарищеский матч с командой Югославии, в Загребе это обязательно воспринимали как лишнее подтверждение «просербской политики Москвы». Но когда контракт с «Цибоной» в 1996 году подписал российский баскетболист Евгений Кисурин, то «Спортске новости» уже не возмущались балканской стратегией Кремля — напротив, писали о том, что Кисурин представляет известную спортивную школу, о том, что прежний его клуб, ЦСКА, — команда европейского уровня.

В южнославянском спортивно-политическом противостоянии оказался задействован даже самый «мирный» вид спорта — шахматы. Тогдашний чемпион мира Гарри Каспаров, в начале девяностых годов увлекшийся политикой, в чужом конфликте принял хорватскую сторону. Каспаров не жалел резких слов для обличения «сербской великодержавной политики», неоднократно приезжал в Хорватию и охотно раздавал интервью. Знаменитый шахматист организовал на свои средства ежегодный турнир «Вуковар», проводил сеансы одновременной игры в Дубровнике, основал фонд имени Гарри Каспарова, стипендиатами которого становились одаренные дети из семей, пострадавших в военное время. Каспаров любил такие показательные жесты вроде бы спортивного характера — например, одно время выступал за шахматную сборную Сараева, хотя во время сербской осады в город не приезжал. Впрочем, опасности он, судя по всему, не чувствовал: с начала девяностых, когда Хорватия превратилась для европейцев в сплошную зону военных действий, Гарри готовился к ответственным турнирам на Адриатическом побережье и даже одно время намеревался купить живописный Црвени оток (Красный остров) близ Ровиня. В Загребе ценили позицию гроссмейстера — Туджман даже наградил Каспарова орденом, а имя его бессовестно использовал в политических целях.

По другую от Каспарова сторону югославских окопов за-сел, естественно, его извечный противник за шахматной доской, другой экс-чемпион мира, Анатолий Карпов. Симпатизировавший коммунистам Карпов навещал Белград в составе патриотических московских делегаций, добирался и до линии фронта, делал соответствующие заявления. Однажды Карпов даже провел сеанс одновременной игры в занятом сербами Вуковаре. И в Югославии, и в Хорватии за поединками двух российских гроссмейстеров следили с особыми — и совсем не спортивными — эмоциями.

...Болельщики загребского «Динамо» новое название клуба не приняли, и до самой смерти Туджмана, положившей конец его режиму, этот вопрос оставался чуть ли не главной темой околоспортивного препирательства. «Кроация» в девяностые годы превратилась в «государственный» клуб. Игроков в сладких тонах хвалили газеты, «Кроация» финансировалась если не из государственного, то из партийного бюджета (якобы добровольные пожертвования делали заинтересованные в особых отношениях с властью бизнесмены), получала всякого рода преимущества, и, если на финише чемпионата страны победа «динамовцев» вдруг оказывалась под сомнением, вопрос о расположении команд на пьедестале почета решался в президентской резиденции на холме Пантовчак.

В начале осени 1994 года, вскоре после переезда в Хорватию, я отправился на футбол — и у входа на стадион наткнулся на пикет болельщиков, собиравших подписи в поддержку воззвания вернуть «Кроации» прежнее имя. Я, не очень еще разобравшись в местных хитросплетениях спорта и политики, бумагу подписал — а почему бы и нет? Через пару дней шутки ради рассказал об этом коллегам из газеты «Спортске новости» — в кабинете главного редактора, собравшего цвет редакции ради знакомства с журналистом из России. Никаких улыбок мой рассказ не вы-

звал, напротив, лица у мужиков вытянулись, редактор сухо прокашлялся и прочитал лекцию о том, как Хорватия избавляется от наследия коммунизма во всем — и спорт исключения не составляет.

Примерно в то же время в высшей футбольной лиге появилась команда «Хрватски Драговолец» («Хорватский доброволец»), президент которой, предприниматель средней руки Степан Спаич, открыто заявлял о том, что в его клубе никогда не будет играть ни один серб. Поначалу «Доброволец» пользовался неформальной поддержкой Министерства обороны — скорее всего, оплачивали его существование все те же патриотически настроенные бизнесмены. В сезоне 1994—1995 годов футболисты этой команды выходили на поле в форме черного цвета, навевавшей воспоминания о фашистском Независимом Хорватском Государстве. «Хорватский доброволец» поднимался по ступенькам турнирной таблицы и в конце концов добился права выступать во второразрядных европейских турнирах. Только после этого клуб поменял цвета (сочетание черного и синего), хотя от своей идеологии Спаич и не думал отказываться. Крошечный стадион «Добровольца» размещался в загребском районе Сигет, в двух шагах от дома, где я тогда жил. Команду яростно поддерживали ветераны «отечественной войны», обычно коротавшие время за бутылкой пива. Когда «Доброволец» забивал гол — на трибунах всюду палили из автоматов.

Белградским вариантом «Хорватского добровольца» стала команда «Обилич», названная именем средневекового сербского витязя. Команду в середине девяностых годов купил нажившийся к тому времени на войне Желько Ражнятович-Аркан. Он вложил в клуб немалые средства — в результате в 1998 году «Обилич» выиграл чемпионат Югославии и получил право участвовать в предварительном турнире Лиги чемпионов. Разразился скандал, поскольку Ражнятович был

объявлен в розыск Интерполом. Преступная репутация президента «Обилича» делала его нежеланным гостем на любом европейском стадионе, и Аркану пришлось сделать рокировку: он, сохранив за собой управление делами клуба, назначил президентом свою жену, популярную фолк-певичку. Супруга, естественно, ничего не понимала ни в спорте, ни в бизнесе, но аккуратно сопровождала «Обилич» в зарубежных поездках. Таковых, впрочем, набралось немало — команда быстро выбыла из соревнований.

А Степан Спаич, хозяин «Хорватского добровольца», перестал разглагольствовать о том, что его команда — «символ национального характера», только после смерти первого президента республики. Летом 2000 года Спаич даже пригласил поиграть за свою команду уволенного из «Динамо» (клуб «переименовали обратно» через месяц после кончины главного его поклонника, причем единогласным решением прежде во всем потакавшего Туджману спортивного руководства) полузащитника Роберта Просинечки, одного из самых талантливых футболистов своего поколения. Теперь уже Спаича не смущало (о чем он не преминул заявить журналистам: мол, время изменилось), что Просинечки — из смешанной сербско-хорватской семьи и что в свое время он блистал в белградской команде «Црвена звезда», вместе с которой выиграл в 1991 году Кубок европейских чемпионов. В конце восьмидесятых Просинечки считался «золотым мальчиком» югославского футбола: его дарования, правда, в «Динамо» не разглядели, откомандировав якобы бесперспективного юношу в Белград. В разгар войны Роберт, к тому времени перебравшийся в Испанию, мучительно принимал решение, за какую из сборных двух родных ему стран выступать, — и в конце концов выбрал Хорватию. По-моему, этих колебаний, как и полусербского происхождения, Просинечки в Загребе так и не простили, сколь бы успешно он ни выступал

и в сборной страны, и в «Кроации», куда вернулся в 1997 году.

В сборной, кстати, Роберт долго играл в связке с «национальным героем» и вечным капитаном Звонимиром Бобаном. На фоне не ведающего патриотических сомнений Бобана, охотно разглагольствовавшего о хорватах и хорватстве, Просинечки со своим комплексом полукровки выглядел бледно — как, впрочем, и другие сербы или мусульмане, выступавшие за хорватские команды. К другим «иностранцам» — македонцам, албанцам из Косова, словенцам — это, правда, относилось в меньшей степени. Но с пропагандистской точки зрения «оплот хорватского баскетбола» — загребская «Цибона», по мнению местных патриотов, выглядела диковато, если в ее составе играл черногорец Здравко Радулович или боснийский мусульманин Джевад Алиходжич, даже если оба они клялись на страницах газет в своем «политическом хорватстве».

Хорватские баскетболисты неизменно демонстрировали патриотизм высшей туджмановской пробы. В июле 1995 года они покинули пьедестал почета чемпионата Европы в Афинах, не дождавшись окончания церемонии награждения — поскольку не пожелали слушать гимн Югославии, сборная команда которой выиграла золотые медали. Защитник Велько Мршич, оправдывая этот демарш, сказал: «Я не мог слышать гимн страны-агрессора!».

Два лидера баскетбольной сборной Хорватии, ее краса и гордость — Дино Раджа и Тони Кукоч, целое десятилетие считавшиеся «друзьями — не разлей вода», навсегда испортили отношения, когда в мае 95-го года Кукоч не позвал Раджу в отвоеванный хорватами Книн — по приглашению президента присутствовать на церемонии поднятия гигантского национального стяга над городской крепостью. За спиной президента в итоге стояли только два спортсмена — Тони Ку-

коч и Иосип Вранкович, а Раджа оскорбился до такой степени, что перестал считать Кукоча своим другом...

Поздней осенью 93-го года я попал на осенние сборы московского «Спартака», которые клуб проводил накануне турнира Лиги чемпионов в истрийском городе Пула. Истрия, полуостров в северной части хорватской Адриатики, где сохранилось заметное итальянское влияние, в середине девяностых годов оставалась одним из немногих не тронутых войной районов республики. Истрийский туризм кормил чуть не всю страну, и местные политики всерьез говорили если не о перспективе получения независимости, то о превращении Истрии в самостоятельный регион. Истрийцы придумали свой флаг — желто-зеленое полотнище и, руководствуясь примитивной стратегией индпендизма, собрали еще и футбольную сборную полуострова. Но ни второй Бразилии, ни второго Пьемонта из Истрии не получилось. Концепция политической самостоятельности ограничилась газетной фрондой, а «Истра» так и осталась заштатной командой. Тем не менее осенью 1993 года товарищеский матч сборной Истрии со «Спартаком» собрал толпу вооруженных желто-зелеными флагами болельщиков. Москвичи легко победили, чем, сами того не подозревая, нанесли чувствительный удар по истрийскому национальному сознанию.

Националистическая истерия, конечно, поражала не всех спортсменов. Многие сербы и хорваты годами играли в одних и тех же зарубежных клубах и сохраняли если не дружеские, то, по крайней мере, нейтральные отношения. Прославленный и в НБА сербский баскетболист Владе Дивац в начале девяностых знаменит был еще и довольно громкими политическими заявлениями, однако не распространял своих принципов на отношения с партнерами по команде. На том же Евро—95, например, Дивац просто отказался комментировать поступок покинувших пьедестал почета хорватов: «Дино Раджа — мой друг, и вы

не услышите от меня ни одного плохого слова». Другой пример — выступления в футбольном мадридском «Реале» Давора Шукера и черногорца Предрага Миятовича, которые еще в 1987 году в составе юношеской сборной «большой» Югославии вместе завоевали титул чемпионов мира и остались приятелями несмотря на политику. Миятович не побоялся в самый разгар сербско-хорватской войны приехать в гостиницу, где остановилась перед товарищеским матчем со сборной Испании хорватская команда. Понятно, впрочем, что знаменитые и богатые спортсмены могли при желании позволить себе легкую фронду — они все-таки находились далеко от родных столиц и не испытывали каждодневного давления националистической пропаганды. А из Европы и распад федерации, и сопровождавшие его войны выглядели совсем по-иному...

Новый всплеск патриотизма в Сербии вызвала в 1999 году военная операция НАТО. В разгар бомбардировок в Белград с «миссией доброй воли» приехала греческая футбольная команда АЕК. Товарищеский матч с «Партизаном» был прерван в начале второго тайма при счете 1:1, однако на сей раз беспорядки переросли не в драку, а в братание местных болельщиков с греческими футболистами и антинатовскую демонстрацию. Футбольный союз СРЮ обратился к выступающим за рубежом югославским футболистам с призывом объявить забастовку в знак протеста против бомбардировок. Откликнулись на этот призыв около 40 человек: одни вообще прекратили играть, другие выходили на поле с траурной повязкой на рукаве или в поддетой под футболку черной майке с изображением мишени — символа сопротивления. До конца, впрочем, выстояли немногие футболисты, поскольку руководство немецких, испанских, итальянских клубов немедленно применило к бунтовщикам жесткие санкции. Миятович, например, пропустил матч чем-

пионата Испании, чтобы принять участие в антивоенной демонстрации в центре Мадрида. Президент «Реала» немедленно оштрафовал Миятовича и пообещал расторгнуть с игроком контракт, если проступок повторится. Миятович уступил. Последовательную решительность из всех «испанских югославов» проявил только Горан Джорович из «Сельты» — он не только отказался выходить на поле, но и отправился сострадать своему народу в Белград. Капитан югославской сборной Драган Стойкович, выступавший за японский клуб «Нагойя Грампус Эйт», тоже вышел на поле в майке с надписью «Остановить бомбардировки НАТО» — и его тоже одернули местные футбольные власти. Синиша Михайлович из римского «Лацио» заявил в одном газетном интервью, что «бомбы, которые падают на Югославию, ничем не отличаются от тех, которые падали во время Второй мировой войны», однако играть за свой клуб не перестал.

По мере того как в республиках бывшей Югославии остывали страсти сражений, сербским и черногорским спортсменам пришлось «определяться» и по отношению к режиму Слободана Милошевича. Первыми это сделали черногорцы: Предраг Миятович (в ту пору самый популярный футболист федерации) и Деян Савичевич в 1997 году приняли участие в предвыборной кампании продемократического кандидата в президенты своей республики Мило Джукановича и даже втроем фотографировались для плакатов и газет. В последние годы пребывания Милошевича у власти против его режима выступали Синиша Михайлович и Владо Дивац — впрочем, оба высказывались очень осторожно, да и критиковали президента скорее за то, что он проиграл все свои войны, а не за то, что он их затеял.

14 октября 2000 года, через неделю с небольшим после штурма демонстрантами югославского парламента, в котором активное участие принимали фут-

больные болельщики, я стал свидетелем грандиозного побоища на белградском футбольном дерби «Црвена звезда» — «Партизан». Фанаты теперь, естественно, делились не на сербов и хорватов: на южной трибуне сидели поклонники якобы «номенклатурного» «Партизана», в руководство которого всегда входили армейские и милицейские чины, на северной — сторонники имевшей репутацию «народной команды» «Звезды». «Делии» и «гробари», десять лет назад вместе воспевавшие великосербские идеи, теперь превратились в пламенных демократов. Революционной энергии и злости на нищую жизнь в молодых людях накопилось так много, что матч продлился всего три минуты: фанаты обеих команд без всякого повода высыпали на поле, началась драка, в результате ранения получили больше 30 человек, причем крепко досталось по крайней мере трем футболистам «Партизана», а тренеру даже выбили несколько зубов. И этот югославский политический кризис не обошелся без спортивной составляющей, и здесь традиция не была нарушена.

Сколь бы мизерным и осторожным ни был протест югославских спортсменов против режима Милошевича, на фоне хорватских коллег они выглядели подлинными бойцами за справедливость. Франьо Туджман всегда обласкивал спортсменов, многие из которых поддерживали вождя не только при его жизни, но даже после смерти. Туджман частенько приглашал футбольную сборную Хорватии в резиденцию на острова Бриюни (в подарок всегда получал комплект спортивной формы), а накануне важных турниров приезжал на тренировочные сборы. Его постоянной теннисной партнершей была хорватская ракетка номер один Ива Майоли — она не только всегда сводила матчи с президентом вничью (играли, и тоже не случайно, по два сета), но и вступила в молодежную организацию туджмановской партии.

На этом благостном фоне резко выделялся знаменитый теннисист Горан Иванишевич, победитель Уимблдона—2001. «Храбрый сплитский витязь», в первые годы независимости выходявший на корты с повязкой цветов национального флага на голове, обладатель двух первых бронзовых медалей молодой республики на Олимпиаде в Барселоне — вдруг выпал из «обоймы» близких к власти. В 1996 году Иванишевич приобрел права на международный теннисный турнир и организовал «Загреб-оупен», открытый зимний чемпионат Хорватии. Турнир провели на кортах в столичном Доме спорта, но потом начались неприятности: соревнования оказались убыточными, а государство, вопреки обыкновению, не торопилось покрывать расходы организаторов. Владельцы «Загреб-оупен» рассорились с главным спонсором, хозяином крупнейшей в стране страховой компании «Кроация осигуранья», который считался другом Туджмана и использовал в околоспортивном споре свое политическое влияние. Турнир обанкротился, Иванишевич написал гневное открытое письмо президенту и публично зарекся заниматься на родине спортивным бизнесом. А Туджман уже не ставил лучшего хорватского теннисиста в пример молодому поколению.

После смерти Туджмана в конце 1999 года, когда отношение и к нему, и к событиям «отечественной» войны в Хорватии стало меняться, одним из бастионов ура-патриотизма оказалась футбольная сборная страны. Осенью 2000 года, когда новый президент Стипе Месич уволил из армии нескольких скомпрометировавших себя политической деятельностью генералов из числа ветеранов войны, футболисты поддержали попавших в опалу военачальников. Летом 2001 года защитник национальной команды Игор Штимац организовал коллективное письмо хорватских спортсменов в поддержку двух генералов, вы-

данных Загребом Международному Гаагскому трибуналу по наказанию военных преступников. А Звонимир Бобан вообще сделал продолжением своей спортивной карьеры политику: вошел в организационный комитет политдвижения, которое возглавил сын Туджмана Мирослав.

Заключительный залп югославянского футбольного сражения был дан осенью 1999 года на том же загребском стадионе «Максимир», где без малого десять лет назад пролилась первая кровь югославской войны. Наконец — свершилось: в квалификационном турнире чемпионата Европы встретились сборные Хорватии и Югославии. Хорватам для выхода в финальную часть соревнований требовалась победа, югославам хватало и ничьей (которой они и добились — матч завершился со счетом 2:2). Стадион ревел в предвкушении восторга, на почетной трибуне сидел Франьо Туджман, которому оставалось жить всего пару месяцев. Драки не ожидалось, поскольку УЕФА не допустила в Загреб болельщиков из Белграда. Во втором тайме на фланге югославской обороны сошлись серб Зоран Миркович и хорват Роберт Ярни. Столкновение было игровым — Миркович в падении если и нарушил правила, то неумышленно. Ярни в пылу атаки не сдержался, наклонился над соперником и сказал ему пару «ласковых» на национальную тему, в чем крупный телевизионный кадр не оставлял никакого сомнения. Миркович, известный взрывным темпераментом, не вставая на ноги, изловчился и схватил Ярни за гениталии. Хорват снопом повалился на газон, судья тут же полез в карман за красной карточкой. Мирковича дисквалифицировали на три матча.

Балканская спортивная война окончилась, и Зоран Миркович стал ее последней — к счастью, скорее комической — жертвой.

Последняя роза



Миф о магии звука и голоса

По мере того как вы передвигаетесь с запада на восток Европы, туалеты становятся все грязнее, а музыка — все чище.

Влатко Стефановски, македонский гитарист

У Бога — одно лицо, у Дьявола — несколько

Их никто не знает по именам. Их популярность скандальна. Каждое их публичное заявление — провокация: «Мы пишем песни не для овец, а для волков», «Наше творчество — это действие во имя идеи», «Мы все сегодня — прошлое завтрашнего дня».

Лайбах — это немецкое название столицы Словении Любляны. «Лайбах» — это единственная рок-группа из бывшей Югославии, прославившаяся на всю Европу, группа, известная не только домашней аудитории и музыковедам.

Свою молодость вспоминает словенский журналист Александр Ставник: «Во времена моей службы в югославской армии офицеры на политзанятиях говорили о музыкантах из группы “Лайбах” как о глупых парнях, которые играют с огнем и появились, чтобы разрушить страну. Для социалистического режима “Лайбах” стал символом предательства».

Странные эксперименты начались в 1980 году в захолустном шахтерском городке Трбовлье, где двое парней, Томаж Хостник и Миран Монах, вознамерились провести арт-акцию под названием «Красный квартал». Хотели всем показать, что социализм предполагает социальное неравенство, — да не смогли, поскольку власти акцию запретили. Да и было чего бояться: группа «Лайбах» упорно нарушала правила морали, играя с нацистской символикой, и не для

всех было очевидным, что это — издевка над тоталитарной системой. Для поколения, пережившего Вторую мировую войну, для страны, гордившейся партизанским прошлым, любая подобная параллель казалась оскорбительной. Многих раздражало то, что участники «Лайбаха» использовали в песнях немецкий язык. Словенский социолог профессор Славой Жижек предложил такое объяснение: «Группа играла роль зеркала, в котором социалистический режим видел отражение собственного авторитаризма. Поэтому нацистская идея саморазрушалась прямо в момент появления».

Но большинство словенцев это объяснение не принимали.

Первый диск группы, «Ропот», вышел без названия «Лайбах» на обложке, конверт виниловой пластинки был украшен лишь фирменным стилем группы. В 1983 году музыканты из «Лайбаха» впервые появились на экранах телевизоров — только для того, чтобы немедленно исчезнуть, и, как тогда казалось, навсегда. Участники группы сидели в студии с каменными лицами и на любые вопросы отвечали выученными наизусть постулатами своей идеологической платформы, обнародованной чуть раньше в журнале «Новая ревия». Вопрос о том, серьезно ли использование нацистской символики, или это всего лишь игра, тоже остался без ответа. К этому времени группа уже сменила состав — прежний лидер, 21-летний Томаж Хостник, в 1982 году покончил с собой, и идеологом стал Иван Новак. Перемены в составе происходили и позже. В итоге двадцатилетний юбилей «Лайбаха» вместе с Новаком отметили Малан Фрас, Деян Кнез и Эрвин Маркошек.

Философская (псевдофилософская?) концепция «Лайбаха» обозначается термином «новое словенское искусство» («Neue Slowenische Kunst», НСК). Идея родилась как следствие охватившего Югославию пос-

ле смерти маршала Тито кризиса, когда Словения существовала скорее как утопическое государство. Но участники «Лайбаха» уверяли: искусство и должно обращаться не к политическим системам, а к утопически организованным группам людей. «Сейчас мы — граждане этого утопического государства, объединенного не границами, а идеями, — учил Иван Новак. — НСК — виртуальная страна без территории, армии и полиции, она велика и мощна ровно настолько, насколько ты сам в это веришь. А верить можешь ровно настолько, насколько веришь, например, в Бога. У нас нет политических амбиций, хотя ясно, что любая наша акция — это политика. НСК мы рассматриваем как безграничный искусствоведческий проект».

К концепции «Лайбаха» присоединились люблянская группа художников «Ирвин» и экспериментальный театр из города Нашице, а также рок-группа «Нордунг» и студия звукозаписи «Нью Коллективизм студио». «Искусствоведческий проект» стал целым движением. Мифическая страна без границ и территории обзавелась своими паспортами, гербом и флагом, которые любой желающий мог приобрести на любом концерте «Лайбаха» вместе с компакт-дисками, кассетами и рекламными плакатами. «В нашей стране больше граждан, чем в Ватикане», — утверждает Иван Новак. В нескольких странах открылись «посольства НСК». Философия быстро обернулась коммерцией: паспорт вместо постера, посольство вместо фан-клуба.

«10 заповедей», программный документ группы «Лайбах», состоит из набора громких и вполне бессодержательных фраз. Наша работа индустриальная, наш язык — политический. Наш материал для манипуляций: тейлоризм, нацистское искусство, диско-музыка. Мы действуем как театр народной культуры. Мы верим в негативную утопию: эра мира закончи-

лась. Наша работа не имеет границ: у Бога — одно лицо, у Дьявола — несколько.

«Лайбах» — железная, «мужская» группа, вполне соответствующая жесткому звучанию своего названия. А Любляна, давшая группе имя, очень мягкий, комфортный, совсем неметаллический город. Удобно спланированные архитектором Йозефом Плечником центральные кварталы, три мостика (Тримостье) через речку с милым названием Любляница, старый замок на одном холме, привольный парк Тиволи — на другом. Странно даже, что в пасторально-полевой Словении появилась такая рок-группа.

«Лайбах» в первую очередь не философская школа, а музыка. Эта группа играет индустриальный альтернативный рок — даже там, где сквозь бетон и цемент ударника и тяжелой гитары, сквозь механический голос пробиваются ростки мелодии, нет ни грусти, не меланхолии. Лай-бах! Ба-бах! Летит самолет, звонит колокол, лает собака, наступает армия, льет дождь, рокочет мотоцикл, взрывается бомба. Начинаются концерты «Лайбаха» с того, что в глаза зрителям со сцены бьет мощный сноп прожекторного света. Публику ошеломляют слепящие лучи, оглушает воющий и скрежещущий звук, подавляет мрачность всегда одетых в «черное с металлом» музыкантов. Зрителей так и хочется выстроить в колонну и отправить куда-нибудь «правым» маршем.

«Колонны зрителей» «Лайбах» успешно собирал во многих мировых столицах. Словенская рок-группа неоднократно приезжала и в Россию. Еще в 1992 году «Лайбах» провел в Москве акцию «Черный квадрат» — участок брусчатки на Красной площади застелили черным полотном («Black Square On The Red Square»). В 1997 году группа гастролировала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Барнауле, Киеве, Харькове.

Дискография «Лайбаха» — почти два десятка альбомов. Некоторые работы высоко, что вполне справедливо, оценены критиками, например пластинка 1987 года «Opus Dei», альбомы «Макбет» (1989 г.) и «Капитал» (1992 г.). Экспериментаторская суровость «Лайбаха» способна произвести сильное впечатление; отдельные композиции, как правило, вытягиваются в единый, иногда почти симфонический строй (вот именно — строй!). Все цельно — да еще оглушительно, как удар кулака. И концерты, и поведение на сцене, и арт-акции, и пропагандистские материалы «Лайбаха» выдержаны в едином стиле — этот стиль может нравиться, может раздражать, но вот он-то вполне концептуален. На обложке каждого альбома «Лайбаха» — широкий черный крест; стальные металлические кресты украшают береты или куртки музыкантов во время каждого выхода на сцену.

В 95-м году, незадолго до окончания войны в Боснии, «Лайбах» привез в Загреб концертную премьеру под названием «НАТО». Североатлантическая «роза ветров», спроецированная лазерным лучом на карту Боснии, казалась голубкой Пикассо на фоне земного шара, а музыкальное послание «Лайбаха» в силу конкретной политической ситуации — несомненно пацифистским. Весь концерт, от первой до последней композиции, состоял из хард-роковых аранжировок чужих эстрадных хитов, в основном на военные темы: от шлягера популярной тогда шведской группы «Европа» «Последний отсчет» до лидировавшей во многих чартах песни группы «Статус-кво» «Ты сейчас в армии». Группа «Лайбах» никогда не стеснялась заимствований: еще в 88-м году словенцы набрались наглости и перепели диск «Битлз» «Пусть будет так», выбросив титульную композицию. Словно подчеркнули: мы не желаем считаться с авторитетами. Ибо «Лайбахом» сказано: «Наш материал для манипуляций — поп-культура».

«Лайбах» годами перебирает один и тот же набор противопоставленных, но перетекающих друг в друга понятий. Например: человек — человеческая армия как машина — машина; Бог — Дьявол (совсем не случайны названия альбомов «Крещение», «Дело Бога», «Симпатия к дьяволу», «Иисус Христос Суперзвезда», «Крест под Триглавом»); массовая культура — диско-музыка. И главное: диктатура — фашизм — демократия. Музыканты утверждают: «Тоталитаризм универсален, он не связан с политическими системами, например с коммунизмом. Демократия, подразумевающая подчинение меньшинства большинству, тоже развивает понятие тоталитаризма».

Мрачную эстетику своего творчества «Лайбах» называет «хорошо организованной анархией». Группа замышлялась как идея, реализации которой подчинены ее выразители, точно так же как, скажем, все работники фирмы «Макдоналдс» или «Кока-Кола» подчинены идеям этих компаний. Поэтому музыканты предпочитают не афишировать свои имена, соглашаясь только на коллективные интервью или делая заявления от имени НСК. «Лайбах» — это всегда не «я», а «мы», это не «четыре единицы», а просто «четыре» по той простой причине, что «четыре больше, чем один». Об этом и в песне поется:

Один человек,
 Общая цель,
 Общие стремления,
 Одно сердце,
 Общий дух —
 Только одно решение.

Текст, чего уж говорить, изяществом не блещет. Но не в поэзии сила, считают музыканты, а в творческой концепции. «Наша концепция — универсальное искусство. Границы рок-пространства не определены, в нем полно пробелов, внутри которых можно

передвигаться как угодно. Рок-музыка не олицетворение свободы, но ее законы не так жестко определены, как, например, законы театра».

В этом межмузыкальном пространстве «Лайбах» и скитается почти четверть века — наверное, в поисках того самого «единственного решения».

Музыка «Лайбаха» вызывает смешанные чувства. С одной стороны, раздражающая игра с нацистской символикой, безыскусные тексты да еще склонность к передвижениям в едином строю. С другой — занятные эксперименты, точность стиля, нестандартное звучание. «Лайбах» интересно слушать, потому что группа играет неожиданную, нетрадиционную музыку: по началу композиции невозможно сказать, чем она завершится. Получается спорное и сложное (сложнее, чем может на первый взгляд показаться) творчество. Но, без сомнения, — творчество. Не просто рок-группа, а целое явление культуры. Вот три разных мнения по этому поводу:

Словенский журналист Александр Ставник: «“Лайбах” превратился в жертву собственного успеха. Выступая на самых престижных сценических площадках мировых столиц, “Лайбах” стал тем самым, против чего боролся все годы своего существования, а боролся он против коммерциализации искусства». *Литератор Иван Толстой:* «Несамостоятельное искусство всегда претендовало на диктат. Не само искусство и не музыкальное послание ставится целью в творчестве “Лайбаха”, а человек; не “что” и не “как” занимает музыкантов, но “для кого”. Искусство становится орудием и выводится за скобки разговора». *Московский культуролог Алексей Михеев:* «Политика и идеология служат для “Лайбаха” материалом для громадной художественной мистификации — как пропаганда тоталитаризма или как предупреждение о его угрозе. Но не способна ли дерзкая художественная игра с символикой зла неким неявным образом вли-

ять на баланс добра и зла в реальном мире, причем не в пользу добра?»

На этот вопрос не ответить. Если считать, что участники «Лайбаха» — сознательные борцы против общественной системы, то борьба их, увы, все-таки оказывается проигранной; точнее, это борьба во имя борьбы, игра в игру. Социализм еще как-то реагировал на бунтарские проделки НСК, сопротивлялся рогатками запретов, а вот воспетому «Лайбахом» капиталу до творческих провокаций, похоже, вообще нет дела.

Протест растворился в потоке поп-культуры: в любом большом музыкальном магазине можно купить диски «Лайбаха». И стоят они не на специальном стеллаже, под флагом «Нового словенского искусства», — нет, в общем ряду.

Строго на букву «Л».

Песня о главном

На рождественский концерт в загребском дворце спорта имени Дражена Петровича по традиции собрался весь местный джет-сет. К появлению в ложе для почетных гостей президента республики организаторы мероприятия приготовили сюрприз. Стоило Франьо Туджману войти в зал — ладно заиграл симфонический оркестр и зазвучала музыка национального гимна. Песню «Наша прекрасная родина» прочувствованно, как всегда, исполняла хорватская оперная дива Ружа Поспиш-Бальдани, мощная женщина в пышном розовом платье. Неожиданным было другое. Вторил даме вокалист группы «Прляво Казалиште» («Грязный театр») Младен Бодалец. Настоящее дитя андеграунда: в драных джинсах и во фраке, сплошь залепленном значками и заклепками.

Зрители аплодировали в слезах и стоя.

В первые годы независимости национальный гимн в Хорватии пели по любому поводу и все, кто только мог. В партийных кругах принято было, услышав аккорды торжественного хора, прижимать к сердцу правую руку. Так делал президент Туджман, так делали министры и генералы, так делали игроки спортивных команд. Республика долго и трудно шла к самостоятельности, добилась независимости ценой страданий и крови, а потому к символам государственности, что старым, что новым, многие хорваты относились по-детски восторженно. Власть, как могла, эти восторженные настроения подогревала. Неподалеку от Загреба, в местечке Зеленгай, есть даже памятник национальному гимну. Моего сына со школьной экскурсией возили любоваться на гранитную стелу с высеченными на ней куплетами главной песни страны.

Торжественную мелодию «Хорватская отчизна» сочинил в 1835 году, в пору национальной эмансипации, композитор Антун Миханович, а патриотические стихи на эту музыку написал поэт Йосип Руньянин (кстати, серб). Впервые в качестве гимна «Хорватская отчизна» прозвучала во времена королевской Югославии, правда, не полностью. Гимн монархии Карагеоргиевичей объединил сразу три мелодии — помимо хорватской, еще сербскую торжественную песнь «Боже правде» («Праведный Боже») и словенскую «*Narpej, zastava slave!*» («Выше, словенское знамя!»). Добившись независимости, словенцы и хорваты мудрствовать не стали: восстановили в гимнах в полном объеме то, что прежде обозначалось всего лишь одним куплетом. Песня «Наша прекрасная родина», кстати, оставалась гимном и в годы фашистского Независимого Хорватского государства.

Сложным оказалось отношение к государственному гимну в Сербии. Главной исторической сербской

моменту мелодию. Экспериментировали даже с Бетховеном, не раз объявляли конкурс, но, увы, лучшее предложение выбрать так и не успели, поскольку страна развалилась. А гимн остался.

Поборники сербства, антикоммунисты, диссиденты времен Милошевича предлагают немедленно провозгласить гимном «Праведный Боже». Недовольство мелодией Домбровского достигло такой степени, что на футбольных стадионах югославские болельщики свистели во время исполнения гимна своей страны. Никому из футболистов, конечно, и в голову не приходило петь слова этого гимна или прижимать руку к сердцу. Недовольны были и живущие в Югославии венгры, болгары, румыны, не говоря уже об албанцах. Албанский кинорежиссер из Косова Экрем Крюизиу так разъяснял мне некоторые причины кризиса в мятежной области: «Вы помните первые строки югославского гимна? “Гей, славяне, пока вы живы...” А почему я должен считать этот гимн своим, если я не славянин?».

Разговоры о необходимости срочного поиска мелодии, должным образом символизирующей югославскую государственность, ни к чему не привели: у Белграда хватало и других забот. По тем же причинам не появлялся на свет и гимн Черногории, хотя флагом и гербом крошечная республика обзавелась. Впрочем, как заверил меня популярный в Черногории автор и исполнитель патриотических песен Божо Ковачевич, властям только стоит бросить клич — и местные композиторы и музыканты на этот призыв откликнутся.

В энтузиазме черногорской творческой интеллигенции мне довелось убедиться. В ресторане приморского городка Будва уже готовый вариант гимна, посвященный исторической столице республики Цетинье, всего за пять немецких марок с удовольствием и гордостью спел развлекавший публику гитарист

Раде Попович Раре. Музыкант даже отложил музыкальный номер на несколько минут, пока я ходил в гостиничный номер за диктофоном. Любопытно, что черногорское государственное телевидение в качестве утренней и полуночной заставки использует не песню какого-нибудь местного автора, а зажигательную рок-композицию белградского рокера Момчило Баягича «Монтенегро».

Мучительно искала свой музыкальный символ Босния и Герцеговина. В 1992 году сараевское правительство обратилось к лидеру известной в бывшей Югославии рок-группы «Мерлин» Дино Дервишхалиловичу с просьбой обработать «под гимн» старую боснийскую песню «Една и едина» («Единственная и единая»), что последний и сделал, да еще и написав на эту народную мелодию патриотический текст. Однако это, естественно, не устроило ни боснийских сербов, ни боснийских хорватов, и после подписания мирного договора в Дейтоне в каждой из трех национальных областей формально единой страны в качестве гимна звучали разные мелодии. Политические препирательства продолжались почти три года, пока наконец Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1998 году не провела специальный конкурс на лучший вариант гимна. В жюри вошли международные представители и музыкальные авторитеты всех трех народов. Конкурс был строго анонимным, чтобы о национальности его участников, не дай бог, не стало известно. Лучшей признали мелодию, написанную сербским композитором из города Баня-Лука Душаном Шестичем. Подозреваю, правда, что очень немногие граждане Боснии и Герцеговины способны различить даже первые аккорды национального гимна. А текст из-за политических разногласий так и не появился — боснийский гимн остался главной песней без слов.

Македонцы после провозглашения независимости избрали в качестве гимна песню «Сегодня над всей Македонией поднимается солнце свободы». Мне доводилось слушать гимн даже в блюзовом варианте — на концерте на центральной площади Скопье в исполнении одного из лучших европейских гитаристов Влатко Стефановски, в прошлом — лидера очень хорошей македонской рок-группы «Леб и сол» («Хлеб и соль»). Вспыхнувший в Македонии в начале 2001 года албанский мятеж показал, что этой песне вряд ли суждено долгое государственное будущее. В ее тексте перечислены поименно борцы за народную свободу, сплошь славяне, ни одного албанца — так что изменение государственного гимна наверняка рано или поздно станет предметом албанско-македонских переговоров.

Не стоит удивляться тому, что в создании государственных гимнов республик бывшей Югославии столь активное участие приняли рок-музыканты. Во-первых, лучшее из того, что создано в югославской рок-музыке, основано на фольклоре; патетических и патриотических тем не чураются многие местные звезды. Во-вторых, главной движущей силой югославских политических событий последнего десятилетия стала молодежь, а молодежь любит те песни, которые исполняют ее кумиры. Кроме того, в титовской Югославии, как и в Советском Союзе, именно рок-музыка стала едва ли не главным заповедником инакомыслия. Социалистические власти запрещали многие самобытные сербские, хорватские, словенские, боснийские рок-группы, хотя и то, что разрешалось, в Москве или Ленинграде показалось бы верхом фронды. Именно поэтому в братской Стране Советов вокально-инструментальное искусство СФРЮ чаще всего представляли идеологически безвредные соло-вьи Джордже Марьянович и Радмила Караклаич.

Солист загребской группы «Грязный театр» Младен Бодалец, которому хорватская власть доверила спеть гимн, — проверенный временем диссидент. Один из альбомов группы называется «Запрещенный концерт»; в него включены песни, исполнявшиеся на действительно запрещенном в восьмидесятые годы социалистическими властями концерте. Группа считается культовой, а «Запрещенный концерт» многократно исполнялся со сцены, когда «Грязный театр» наконец разрешили. Слышал это концертное исполнение и я — в ночь перед Рождеством 1995 года на старом загребском рынке Долац послушать своих любимцев собрались несколько десятков тысяч поклонников.

Младен Бодалец, а также гитарист и автор песен «Грязного театра» Ясенко Хоура в охваченной национально-освободительным порывом республике считались носителями свободолобивого хорватского духа. Песню «Грязного театра» «Последняя роза Хорватии» распевали участники демонстраций в поддержку независимости. Бодалец и Хоура со сцены благословляли уходивших «в бой за родину» хорватских солдат и посвящали свои концерты «ребятам, которые сражаются за свободу». Одна из улиц Загреба так и называется — «улица Хорватской розы».

Для музыкантов из бывшей Югославии характерна готовность поучаствовать в политическом процессе, и эта вовлеченность в политику часто оказывается неумной и неуместной. Многие местные рок-звезды стремятся быстро перепеть лозунги уличных демонстраций, поскольку это — самый простой путь к успеху. Лидер популярной белградской рок-группы «Рыбля чорба» («Уха», есть и куда менее приличный, совсем жаргонный перевод названия) Бора Джорджевич написал несколько десятков политических песен. Эти песенки, совсем простенькие в музыкальном и поэти-

ческом отношении, зато легкие для запоминания и уличного исполнения, с удовольствием распевали участники студенческого движения протеста в Белграде осенью и зимой 1997—1998 годов. Песни «Ангел, посмотри на свой дом», «Крысы в подвале», «Баба Юла» (о супруге Слободана Милошевича, лидере партии «Югославские Левые» — «ЮЛ», Мирьяне Маркович) стали перворазрядными хитами.

Эта белградская протестная контркультура породила настоящую индустрию: в дни каждого из многочисленных политических кризисов на улицах и площадях югославской столицы в изобилии и за гроши продавались кустарного производства аудиокассеты и компакт-диски с песнями дня, значки, свистки, дудки, жетоны и т.д. Кому-то эта торговля приносила немалый доход. Причина популярности революционной атрибутики — еще и в особенностях характера сербов, которые политику часто воспринимают как карнавал, как шумный уличный спектакль.

Политическую окраску приобрело и народное песенное творчество. Конфликты девяностых годов возродили традицию гусларских песнопений. Гусле — балканский струнно-смычковый инструмент, из которого под заунывное протяжное пение извлекаются резкие и, как мне кажется, не слишком-то музыкальные звуки. Гуслары исполняли чудовищной длины героические баллады о сербских или хорватских воинах, сложивших головы в боях с порабителителями или одержавших славные победы. Теперь старые песни поются на новый лад — их персонажами становятся современные политики. В хорватских районах Герцеговины в середине девяностых годов слагали гусларские баллады о Туджмане и министре обороны Хорватии Гойко Шушаке. Самый знаменитый черногорский гуслар Ратко Перич распродал свои кассеты в Белграде если не тысячами, то сотнями. Баловался игрой на гусле вождь боснийских сербов Радован Караджич, как-то в своей резиденции в Пале он даже устроил пением делегацию российских дипломатов.

Такова уж особенность балканского менталитета: политики здесь сторонятся немногие. Но те, кто сторонятся, — редко потом об этом сожалеют.

Прикосновение шелка

Даже родник может замутиться,
Но никогда не бывает грубым
прикосновение шелка.

Мне очень нравится это стихотворение Джордже Балашевича. Есть в его строках какое-то японское созерцательное спокойствие, совершенно нетипичное для Балкан. «Прикосновение шелка» — так называется книга стихов и воспоминаний знаменитого в Югославии барда, кумира нескольких поколений, популярность которого пережила политические катаклизмы и войны.

В федеративной Югославии жанр, получивший в России, несмотря на весь его романтизм, суконное обозначение «авторская песня», имеет долгую музыкальную традицию. В Сербии и Хорватии — свое «казспэшное» движение, разве что у костров за руки не берутся. Поколебавшись между жанровыми определениями «бард», «шансонье», «кантаторе», югославыне предпочли близкую Южную Италию; в Загребе, Белграде, Сплите популярность кантауторов затмевает славу самых известных рок-музыкантов и киноактеров.

Политического протеста и философичности в югославской авторской песне заметно меньше, чем в российской. Зато романтики и сантиментов — хоть отбавляй. Дуэт лучших кантауторов составляют певец из Нови-Сада Джордже Балашевич и хорват с далматинского побережья — уже пожилой Арсен Дедич. Лейтмотив творчества один и тот же — несчастная любовь. Разница, пожалуй, в том, что Дедич лишь иногда пускается в стихотворные размышления на социальные темы, а творчество Балашевича все-таки преврати-

лось в политическую этикетку, в символ сопротивления режиму Милошевича.

Вот фрагменты из беседы с Джордже Балашевичем, которую мы вели осенью 2000 года в Нови-Саде, через пару недель после того, как политическая ситуация в Югославии в очередной раз перевернулась. «Казалось, дальше терпеть уже невозможно: целое десятилетие власть нас до нитки грабила, унижала, оскорбляла всеми возможными способами, — рассуждал Балашевич. — Но все-таки кое-кому и этого было недостаточно для того, чтобы прозреть: “Знаешь, я должен быть в партии Милошевича, потому что у меня двое детей”. Я говорил, что у меня трое детей, и это не означает, что я должен состоять в какой-то партии, а мне отвечали: “Ну, тебе-то, знаменитости, легко говорить!”. А сейчас я чувствую себя очень хорошо, потому что всегда оставался на правильной стороне и никто меня не мог купить. Может, настоящей цены не предлагали, но это другой вопрос...

В эпоху “после Милошевича” я формально стал певцом режима, а всегда был певцом оппозиции. Но я даже по телевизору сейчас не показываюсь, не хочу превращаться в придворного. Политики, которые пришли к власти, — более или менее моего поколения, они знают, какой я, знают, что меня нельзя купить. У меня есть старый дедовский дом, есть семья, есть моя публика — что еще они могут предложить? Мне больше почти ничего и не нужно — только возможность свободно путешествовать.

Наши дети, может быть, уже через пару лет забудут о том, кто такой Милошевич. Имена политиков по глупому стечению обстоятельств оказались для нас слишком важными. Еще мальчишкой я выучил из киножурналов, которые в кино показывали до начала фильма, три имени — Тито, Кардель, Ранкович. Словно футболисты, состав которых в сборной года-

ми не менялся: Чайковский, Станкович, Црнкович. Надеюсь, теперь имена политиков многие позабудут... Политики пусть занимаются политикой, а остальные граждане пусть живут своей нормальной жизнью».

Балашевич — единственный музыкант из бывшей Югославии, на каждый концерт которого в любом городе прежней федерации соберется полный зал зрителей, сколь бы вместителен этот зал ни был. Джордже Балашевич и десять лет назад, и теперь для всей страны — и Окуджава, и Галич, и Визбор, и Высоцкий одновременно. Сравнения бледны: они указывают, да и то не вполне, на сходство песенного жанра, но не на творческий почерк. Объяснить феномен Балашевича, наверное, можно так: его песни — из тех, что становятся смыслом, а не фоном дружеской вечеринки, они дают настроение, повод для спора, могут примирить рассорившихся влюбленных или разошедшихся во взглядах на жизнь приятелей. Тексты вроде несложны, и рифмы незамысловаты, и мелодия проста, но есть во всем этом очарование и чувство. Что-нибудь, например, такое: «Я счастлив, что существую: пишу песни, считаю звезды».

Джордже Балашевич живет в Нови-Саде на улице Йована Цвиича, в старом, еще дедовском доме. Воеводина — это северная югославская область со смешанным сербским, хорватским, венгерским населением, это особый склад характеров и мировоззрения людей, это открытость просторов, величавость Дуная, цветение яблоневых и вишневых садов. Таков и песенный мир Балашевича — небо над полем и ветер над морем. Его запахи — ром и ваниль, его время — раннее утро, его материи — бархат и шелк. Балашевич — певец равнины, его стихам и его музыке нужно пространство; города, окруженные горами, напоминают ему птичьи гнезда. Поэтому скрипка в компози-

циях Балашевича звучит не нервно, а протяжно, не резко, а томительно.

Вот что писал о творчестве Балашевича критик Драшко Реджеп: «Ему не мешают государственные границы, они исчезают в круговерти его меланхолических напевов, они растворяются в его ироничной позиции насмешника. Но кто знает, может быть, дело в другом: территория песен Балашевича простирается так широко, так неопределенно, что ее невозможно зафиксировать ни в одном договоре о государственных границах».

«Я родился в большой Югославии, и эта страна мне нравилась, — говорит Балашевич. — Я не политически относился к этой стране — чувствовал ее через спорт, море, путешествия. А сейчас поначертили границ, и, если скажешь: “Мне жаль потери Словении или Хорватии”, — все сразу подкладывают под эти слова политический смысл: красная звезда на флаге, коммунизм... У меня не югоностальгия, а ностальгия по людям. Мне не хватает тех времен, когда всюду можно было ездить без давления, когда нигде не было оружия и страха, что с тобой что-то произойдет. У меня трое детей, и мне жаль, что они некоторых вещей так и не успели узнать, что лучшие годы их жизни прошли без путешествий. У них отобрали возможность видеть и сравнивать, смотреть, где лучше...»

Журналисты называют Джордже Балашевича «паннонским моряком» — есть у него песня с таким рефреном. Когда-то над равнинами Воеводины колыхалось доисторическое Паннонское море, то ли высохшее, то ли ушедшее под землю. Балашевич отыскал новый повод для осмысления жизни, нашел еще одну причину для меланхолии: бывают моряки без кораблей, но бывают ли моряки без моря? «Это море не дождалось меня и исчезло, — поет Балашевич, — и я, в душе Магеллан и адмирал Кук, сижу морским волком на пшеничном поле».

Балашевич кое в чем — музыкальный антипод Горана Бреговича и Эмира Кустурицы, которые балканскую музыку и балканский фольклор рассматривают в качестве коммерческого продукта. Балашевичу ближе философия другого талантливому музыканта, уже почти четверть века экспериментирующего со смесью фолка, блюза и рока, македонца Влатко Стефановски. Стефановски уверял меня, что для него в музыке важно не то, что модно, а то, что вечно. — не «Спайс Герлз», а «Битлз». Эта мысль тогда мне не показалась очень уж глубокой, ведь банально пропагандировать веру в музыкальную вечность и святость. Но вот Стефановски вместе с другим гитаристом, сербом Мирославом Тадичем, отправился в город Крушево, где в самом начале XX века македонцы подняли окончившееся кровавым поражением восстание против турок. Десятилетия спустя в Крушеве в память об этих событиях воздвигли памятник-мавзолей под названием «Македониум». Под его гигантским куполом — особая энергетика, волнующая для южнославянской души атмосфера. Под этим куполом «Македониума» два музыканта записали альбом «Крушево» — блюзовые импровизации на темы народных балканских песен.

Стефановски любит сравнивать гитару со взлетной полосой: можно взлететь, а можно и об землю грохнуться. В «Македониуме» он «взлетел» высоко, под самый купол.

«Сейчас в моде этномузыка, — продолжает Джордже Балашевич. — Я иногда подшучивал над коллегами, которые изо всех сил использовали всякие народные инструменты, говорил: “Я, господа, тоже пишу этномузыку, но я родом из благородного города Нови-Сад, где главные инструменты — скрипка и пианино, а потому мне все это ваше вытье и буханье не нужно”. Но, если серьезно говорить, в Воеводине все перемешано, здесь сильное влияние румынской, великолепной венгерской музыки, из-за Карпат доходят украинское и русское влияние, сила и размах. Все это просто невозможно исчерпать. Вообще текст для

меня важнее музыки, потому что я — не настоящий певец, не настоящий музыкант. Но когда я умру и моим именем назовут в Нови-Саде школу и улицу, кто-то, вероятно, вспомнит и мою музыку тоже».

Любая настоящая любовь грустна, утверждает Балашевич. Любая настоящая любовь, уверен Балашевич, таинственна. Джордже — исполнитель прочувствованной песни и писатель душевного слова: «Путь к звездам — это только кружный путь к самому себе». «Мне действительно больше нравится писать песни о любви, — уверяет он. — В альбоме “Девяностые”, вышедшем в год падения Милошевича и потому политизированном, моя любимая песня — “Мне не хватает нашей любви”, это такая настоящая патетическая славянская песня. Я считаю себя певцом любовных песен, а то, что в жизнь вмешалась политика... Приятно, что и тут у меня есть какое-то влияние, — но, надеюсь, мне больше не придется петь о политике».

Балашевича еще и потому с таким восторгом встречают на каждом концерте, что и во время распада Югославии, и во время войн в Боснии, Хорватии и Косове, и в пору репрессий сербского режима определяющими понятиями для него оставались не урапатриотизм, не деньги, не власть, не слава. Балашевич, как сам он говорит, «остался нормальным в стране, где нормальные мозолили глаза»; войну воспринимал как несчастье, нечестную власть — как проказу, как стихийное бедствие.

«Опыт немногого стоит, я это знаю по собственному опыту», — говорит Балашевич. Думаю, лукавит. В конце семидесятых годов 24-летнего Балашевича, восходящую эстрадную звезду и кумира югославской молодежи, попросили выступить на концерте перед престарелым маршалом Тито. Балашевич пришел в священный ужас: «Меня пугал не маршал, не президент, а его великое шаманское Имя, которое для всех нас было Именем с большой буквы», — и написал

патриотическую клятву Тито. С такими словами: «Мы играем рок, но в нашей груди бушует пламя битвы, в нас — судьба будущего, в нас течет кровь партизан. Положитесь на нас!».

Песня вождю понравилась. «Именам современников не место в песнях, которые рассчитывают на долгую жизнь, — написал Балашевич через два десятилетия. — Это была Песня Большой Ошибки, что я понял очень скоро. И навсегда стал неподходящим певцом, который сочинил только одну “подходящую” песню».

Сербский и хорватский языки, несмотря на фонетическую жесткость, очень музыкальны. Мужчины на эстраде (динарский тип!) победоносны, но часто безлики, зато женщины всегда яркие, словно тропические птицы, и вызывающе чувственны. Среди десятков неотличимых друг от друга попсовых загребских и белградских певичек со страдающими безвкусицей псевдонимами (Кассандра или Северина) встречаются голоса, низкая хрипотца которых настояна если не на выдающемся таланте, то на каком-то природном даре игры с музыкой и звуком. Местная эстрадная романтика — забавный предмет для исследования. В сербских и хорватских песнях главный персонаж — женщина, несмотря, на то, что семейные отношения в этих краях традиционно патриархальны. Но в песне именно женщина, сильная и всегда томящаяся, по своей воле дает и берет, она — имя существительное, страдательный залог и знаменатель всей придуманной жизни. Она — хищница, вне зависимости от того, мучится ли после расставания или готовится к свиданию, разрывает ли любовную связь сама или оказывается брошенной. Балашевич говорит в таких случаях: «Из счастья тклет печаль». В этих эстрадных номерах — очень смешная, темпераментная система ключевых понятий для обозначения выстраданного чувства. Все диктуют обоняние и осязание: «подушка», «запах», «простыня», «прикосновение». Неслучайно именно писательница из Хорватии Славенка Дракулич на-

писала первый в истории литературы «тактильный» роман. Книга Дракулич «Мраморная кожа» — монолог женщины-скульптора, посвященный ее почти фрейдистской, чувственной связи с собственной матерью. Вот этот роман об одиночестве, непонимании, эгоизме и слепоте любящих друг друга людей Славенка пишет «тактильным» языком — свои эмоции героиня передает через прикосновение к материалу, с которым работает.

Летом 2001 года в курортном черногорском местечке Герцег-Нови прошел фестиваль популярной песни «Солнечные Скалы». Новизна мероприятия заключалась в том, что впервые за много лет фестиваль стал международным, с участием певцов из всех республик бывшей Югославии. Круг замкнулся — произошло возвращение к формату десятилетней давности. Ведущая низким хрипловатым голосом с особым удовольствием выговаривала слово «международный»: приятно чувствовать себя хозяйкой важной встречи. Летняя ночь выдалась жаркой и томной, и ветер с Адриатики был нежным, как прикосновение шелка. Публика горячо приветствовала не только своих любимцев, но и иностранных гостей. Казалось, что просто приснилось десятилетие войн, дурных перепалок политиков, что не было всеобщей ненависти и злобы, сотен тысяч убитых и миллионов обездоленных. Снова, как и прежде, словенцы, македонцы, боснийцы, сербы, хорваты общались друг с другом без переводчиков.

Все — как прежде. Нет, почти как прежде. Члены жюри, словно сговорившись, первые места единодушно отдавали только «своим».

Строго по национальному принципу.

Содержание

Город, море, горы...

Миф о символах большой страны

Искусство кофе	9
Посередине Земли	19
Система понятий	30

Когда республики были монархиями

Миф о принцах и благородном прошлом

Демократия с короной	39
Венский шницель	48
Принц-Золушка	55

Молчание свечи

Миф о святых и мучениках

Богоматерь в горах	65
Жертвоприношение	74
Il nome della rosa (подражание Умберто Эко)	80

«Дикие гуси»

Миф о товарищах по оружию

«Русские волки»	93
Без веры нет свободы	109
Братя по крови	114

Маршал

Миф об учителе и вожде

Семейные ценности	121
«Vrozna vmetena»	127
Позапрошлый вождь	136

Перед дождем

Миф об открытом кинопространстве

Памятникам не нужно верить	145
Югослав — Большой Змей	155
Красивые деревни красиво горят	157

Человек, который выдумал ноль

Миф о литературе, свободной от литературы

Смерть печатного текста	171
Калейдоскоп	176
Черепки черепков	181

❧I.....Война как спорт и спорт как война

Миф о победе в бою

Последняя роза

Миф о магии звука и голоса

У Бога — одно лицо, у Дьявола — несколько	215
Песня о главном	222
Прикосновение шелка	230

AFTER THE RAIN FALLS

Yugoslavian myths: between the old and the new age

This book by a well-known Russian journalist Andrei V. Shary who reported to the US-sponsored "Radio Free Europe – Radio Liberty" during armed conflicts in the Balkans in the 1990ies is devoted to the last decade of the former Yugoslavia` history. That decade had ruined not only the common Yugoslav state but also social and ideological myths this state had been based upon. So, what is the genesis of the myth about the Great Father Of The Nation? What are the reasons to re-write the national history? What is the logic of the national supremacy theory? How does politics influence literature, sports, cinema and music at the age of war? World-famous artists Milorad Pavic, Emir Kusturica and Goran Bregovic, raised-from-the-tombs shades of the Yugoslav Marshal Tito and Serbian Orthodox Saint Savo, descendants of the royal Karageorgievich and Habsburg families search for the answers. "After The Rain Falls" is a book about the past and the future of the once mighty regional superpower that blended totalitarian rule with free market economy, and seemed to find the way to live in peace and prosperity despite being sandwiched between the Soviet and American interests, and finally, converted into the area of bloodiest civil war of the second half of the XX century

Андрей Шарый
ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Югославские мифы старого и нового века

Редактор
Е. Шкловский
Корректоры
Э. Корчагина, Е. Мохова
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru
<http://www.nlo.magazine.ru>

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.

Формат 60×90/32
Бумага офсетная № 1
Усл.-печ. л. 7,5. Заказ № 332
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО типографии «Полимаг»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107

АНДРЕЙ ШАРЫЙ | ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Книга известного журналиста Андрея Шарого, в 1993–1996 гг. – собственного корреспондента радио Свобода на Балканах (Загреб), – о последнем десятилетии истории бывшей Югославии, о крушении ее общественно-политических мифов. Как появляется и исчезает миф о великом вожде? Откуда возникает потребность переписать историю? Что такое патриотизм эпохи национальных войн? Какова логика теории о национальной исключительности? Какое влияние кризис общественного сознания оказывает на кинематограф, музыку, литературу, спорт? *После дождя* – размышления о стране, когда-то умудрявшейся «при социализме жить, как при капитализме», а затем ставшей ареной самой жестокой европейской войны второй половины XX века.

